# ВИКТОР АСТАФЬЕВ

Школьное чтение

## ЛУЧШИЕ РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВАСЮТКИНО ОЗЕРО,
ЦАРЬ-РЫБА

Одобрено лучшими учителями

Издательство АСТ

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Мальчиком, Виктор Астафьев заблудился в тайге и много дней провел один. А когда в школе все писали сочинение о том, как прошло лето, пятиклассник обо всем этом и написал. Вскоре сочинение было напечатано в школьном журнале «Жив». Так появился первый рассказ для детей «Васюткино озеро» Виктора Петровича Астафьева…


- Виктор Петрович Астафьев
  - Васюткино озеро
  - Зачем я убил коростеля?
  - Милаха и кот Громило
  - Бойе
  - Капля
  - Не хватает сердца
  - Царь-рыба
- notes
  - 1
  - 2

# Виктор Петрович Астафьев
# Лучшие рассказы для детей

# Васюткино озеро

Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное Васютке. Еще бы! Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки – озеро, названное его именем! Пускай оно и не велико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашел его и людям показал. Да, да, не удивляйтесь и не думайте, что все озера уже известны и что у каждого есть свое название. Много еще, очень много в нашей стране безымянных озер и речек, потому что велика наша Родина, и сколько по ней ни броди, все будешь находить что-нибудь новое, интересное.

Рыбаки из бригады Григория Афанасьевича Шадрина – Васюткиного отца – совсем было приуныли. Частые осенние дожди вспучили реку, вода в ней поднялась, и рыба стала плохо ловиться: ушла на глубину.

Холодная изморозь и темные волны на реке нагоняли тоску. Не хотелось даже выходить на улицу, не то что выплывать на реку. Заспались рыбаки, рассолодели от безделья, даже шутить перестали. Но вот подул с юга теплый ветер и точно разгладил лица людей. Заскользили по реке лодки с упругими парусами. Ниже и ниже по Енисею спускалась бригада. Но уловы по-прежнему были малы.

– Нету нам нынче фарту, – ворчал Васюткин дедушка Афанасий. – Оскудел батюшко Енисей. Раньше жили как Бог прикажет, и рыба тучами ходила. А теперь пароходы да моторки всю живность распугали. Придет время – ерши да пескари и те переведутся, а об омуле, стерляди и осетре только в книжках будут читать.

Спорить с дедушкой – дело бесполезное, потому никто с ним не связывался.

Далеко ушли рыбаки в низовье Енисея и наконец остановились.

Лодки вытащили на берег, багаж унесли в избушку, построенную несколько лет назад ученой экспедицией.

Григорий Афанасьевич, в высоких резиновых сапогах с отвернутыми голенищами и в сером дождевике, ходил по берегу и отдавал распоряжения.

Васютка всегда немного робел перед большим, неразговорчивым отцом, хотя тот никогда его не обижал.

– Шабаш, ребята! – сказал Григорий Афанасьевич, когда разгрузка закончилась. – Больше кочевать не будем. Так, без толку, можно и до Карского моря дойти.

Он обошел вокруг избушки, зачем-то потрогал рукой углы и

полез на чердак, подправил съехавшие в сторону пластушины корья на крыше. Спустившись по дряхлой лестнице, он тщательно отряхнул штаны, высморкался и разъяснил рыбакам, что избушка подходящая, что в ней можно спокойно ждать осеннюю путину, а пока вести промысел паромами и переметами. Лодки же, невода, плавные сети и всю прочую снасть надобно как следует подготовить к большому ходу рыбы.

Потянулись однообразные дни. Рыбаки чинили невода, конопатили лодки, изготовляли якорницы, вязали, смолили.

Раз в сутки они проверяли переметы и спаренные сети – паромы, которые ставили вдали от берега.

Рыба в эти ловушки попадала ценная: осетр, стерлядь, таймень, частенько налим, или, как его в шутку называли в Сибири, поселенец. Но это спокойный лов. Нет в нем азарта, лихости и того хорошего, трудового веселья, которое так и рвется наружу из мужиков, когда они полукилометровым неводом за одну тоню вытаскивают рыбы по нескольку центнеров.

Совсем скучное житье началось у Васютки. Поиграть не с кем – нет товарищей, сходить некуда. Одно утешало: скоро начнется учебный год и мать с отцом отправят его в деревню. Дядя Коляда, старшина рыбосборочного бота, уже учебники новые из города привез. Днем Васютка нет-нет да и заглянет в них от скуки.

Вечерами в избушке становилось людно и шумно. Рыбаки ужинали, курили, щелкали орехи, рассказывали были и небылицы. К ночи на полу лежал толстый слой ореховой скорлупы. Трещала она под ногами, как осенний ледок на лужах.

Орехами рыбаков снабжал Васютка. Все ближние кедры он уже обколотил. С каждым днем приходилось забираться все дальше и дальше в глубь леса. Но эта работа была не в тягость. Мальчишке нравилось бродить. Ходит себе по лесу один, напевает, иногда из ружья пальнет.

Васютка проснулся поздно. В избушке одна мать. Дедушка Афанасий ушел куда-то. Васютка поел, полистал учебники, оборвал листок календаря и с радостью отметил, что до первого сентября осталось всего десять дней.

Мать недовольно сказала:

– К ученью надо готовиться, а ты в лесу пропадаешь.

– Чего ты, мамка? Орехи кто-то должен добывать? Должен. Охота ведь рыбакам пощелкать вечером.

– «Охота, охота»! Надо орехов, так пусть сами ходят. Привыкли парнишкой помыкать да сорить в избе.

Мать ворчит по привычке, потому что ей не на кого больше ворчать.

Когда Васютка с ружьем на плече и с патронташем на поясе,

похожий на коренастого, маленького мужичка, вышел из избы, мать привычно строго напомнила:

– Ты от затесей далеко не отходи – сгинешь. Хлеба взял ли с собой?

– Да зачем он мне? Каждый раз обратно приношу.

– Не разговаривай! На вот краюшку. Не задавит она тебя. Спокон веку так заведено, мал еще таежные законы переиначивать.

Тут уж с матерью не поспоришь. Таков старинный порядок: идешь в лес – бери еду, бери спички.

Васютка покорно сунул краюшку в мешок и поспешил исчезнуть с глаз матери, а то еще придерется к чему-нибудь.

Весело насвистывая, шел он по тайге, следил за пометками на деревьях и думал о том, что, наверное, всякая таежная дорога начинается с затесей. Сделает человек зарубку на одном дереве, отойдет немного, еще топором тюкнет, потом еще. За этим человеком пойдут другие люди; собьют каблуками мох с валежин, притопчут траву, ягодники, отпечатают следы в грязи – и получится тропинка. Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со временем, а уж морщинки-то на лице едва ли зарастут.

Склонность к пространным рассуждениям, как у всякого таежника, появилась у Васютки. Он еще долго думал бы о дороге и о всяких таежных разностях, если бы не скрипучее кряканье где-то над головой.

«Кра-кра-кра!..» – неслось сверху, будто тупой пилой резали крепкий сук.

Васютка поднял голову. На самой вершине старой взлохмаченной ели увидел кедровку. Птица держала в когтях кедровую шишку и орала во все горло. Ей так же горласто откликались подруги. Васютка не любил этих нахальных птиц. Он снял с плеча ружье, прицелился и щелкнул языком, будто на спуск нажал. Стрелять он не стал. Ему уже не раз драли уши за попусту сожженные патроны. Трепет перед драгоценным «припасом» (так называют сибирские охотники порох и дробь) крепко вбит в сибиряков отроду.

– «Кра-кра!» – передразнил Васютка кедровку и запустил в нее палкой.

Досадно было парню, что не может он долбануть птицу, даром что ружье в руках. Кедровка перестала кричать, неторопливо ощипалась, задрала голову, и по лесу снова понеслось ее скрипучее «кра!».

– Тьфу, ведьма проклятая! – выругался Васютка и пошел.

Ноги мягко ступали по мху. На нем там и сям валялись шишки, попорченные кедровками. Они напоминали комочки сотов. В некоторых отверстиях шишек, как пчелки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у кедровки: пустые орехи птица даже не вынимает из гнездышка. Васютка поднял одну шишку, осмотрел ее со всех сторон и покачал головой:

– Эх и пакость же ты!

Бранился Васютка так, для солидности. Он ведь знал, что кедровка – птица полезная: она разносит по тайге семена кедра.

Наконец Васютка облюбовал дерево и полез на него. Наметанным глазом он определил: там, в густой хвое, упрятались целые выводки смолистых шишек. Он принялся колотить ногами по разлапистым веткам кедра. Шишки так и посыпались вниз.

Васютка слез с дерева, собрал их в мешок. Потом оглядел окружающий лес и облюбовал еще один кедр.

– Обобью и этот, – сказал он. – Тяжеловато будет, пожалуй, да ничего, донесу.

Вдруг впереди Васютки что-то сильно захлопало. Он вздрогнул от неожиданности и тут же увидел поднимающуюся с земли большую черную птицу. «Глухарь!» – догадался Васютка, и сердце его замерло. Стрелял он и уток, и куликов, и куропаток, но глухаря подстрелить ему еще не доводилось.

Глухарь перелетел через мшистую поляну, вильнул между деревьями и сел на сухостоину. Попробуй подкрадись!

Мальчик стоял неподвижно и не спускал глаз с огромной птицы. Вдруг он вспомнил, что глухаря часто берут с собакой. Охотники рассказывали, что глухарь, сидя на дереве, с любопытством смотрит вниз, на заливающуюся лаем собаку, а порой и подразнивает ее. Охотник тем временем незаметно подходит с тыла и стреляет.

Васютка же, как назло, не позвал с собою Дружка. Обругав себя шепотом за оплошность, Васютка пал на четвереньки, затявкал, подражая собаке, и стал осторожно продвигаться вперед. От волнения голос у него прерывался. Глухарь замер, с любопытством наблюдая эту интересную картину. Мальчик расцарапал себе лицо, порвал телогрейку, но ничего этого не замечал. Перед ним наяву глухарь!

… Пора! Васютка быстро встал на одно колено и попытался с маху посадить на мушку забеспокоившуюся птицу. Наконец унялась дрожь в руках, мушка перестала плясать, кончик ее задел глухаря… Тр-рах! – и черная птица, хлопая крыльями, повалилась вниз. Не коснувшись земли, она выпрямилась и полетела в глубь леса.

«Ранил!» – встрепенулся Васютка и бросился за подбитым глухарем.

Только теперь он догадался, в чем дело, и начал беспощадно корить себя:

– Мелкой дробью грохнул. А что ему мелкой-то? Он чуть не с Дружка!..

Птица уходила небольшими перелетами. Они становились все короче и короче. Глухарь слабел. Вот он уже, не в силах поднять грузное тело, побежал.

«Теперь все – догоню!» – уверенно решил Васютка и припустил сильнее. До птицы оставалось совсем недалеко.

Быстро скинув с плеча мешок, Васютка поднял ружье и выстрелил. В несколько прыжков очутился возле глухаря и упал на него животом.

– Стоп, голубчик, стоп! – радостно бормотал Васютка. – Не уйдешь теперь! Ишь какой прыткий! Я, брат, тоже бегаю – будь здоров!

Васютка с довольной улыбкой гладил глухаря, любуясь черными с голубоватым отливом перьями. Потом взвесил в руке. «Килограммов пять будет, а то и полпуда, – прикинул он и сунул птицу в мешок. – Побегу, а то мамка наподдаст по загривку».

Думая о своей удаче, Васютка, счастливый, шел по лесу, насвистывал, пел, что на ум приходило.

Вдруг он спохватился: где же затеси? Пора уж им быть.

Он посмотрел кругом. Деревья ничем не отличались от тех, на которых были сделаны зарубки. Лес стоял неподвижно-тихий в своей унылой задумчивости, такой же редкий, полуголый, сплошь хвойный. Лишь кое-где виднелись хилые березки с редкими желтыми листьями. Да, лес был такой же. И все же от него веяло чем-то чужим…

Васютка круто повернул назад. Шел он быстро, внимательно присматриваясь к каждому дереву, но знакомых зарубок не было.

– Ффу-ты, черт! Где же затеси? – Сердце у Васютки сжалось, на лбу выступила испарина. – Все этот глухарина! Понесся, как леший, теперь вот думай, куда идти, – заговорил Васютка вслух, чтобы отогнать подступающий страх. – Ничего, сейчас посображаю и найду дорогу. Та-ак… Почти голая сторона у ели – значит, в ту сторону север, а где ветвей больше – юг. Та-ак…

После этого Васютка пытался припомнить, на какой стороне деревьев сделаны зарубки старые и на какой – новые. Но этого-то он и не приметил. Затеси и затеси.

– Эх, дубина!

Страх начал давить еще сильнее. Мальчик снова заговорил вслух:

– Ладно, не робей. Найдем избушку. Надо идти в одну сторону. На юг надо идти. У избушки Енисей поворот делает, мимо никак не пройдешь. Ну вот, все в порядке, а ты, чудак, боялся! – хохотнул Васютка и бодро скомандовал себе: – Шагом арш! Эть, два!

Но бодрости хватило ненадолго. Затесей все не было и не было. Порой мальчику казалось, что он ясно видит их на темном стволе. С замирающим сердцем бежал он к дереву, чтобы пощупать рукой зарубку с капельками смолы, но вместо нее обнаруживал шершавую складку коры. Васютка уже несколько раз менял направление, высыпал из мешка шишки и шагал, шагал…

В лесу сделалось совсем тихо. Васютка остановился и долго стоял прислушиваясь. Тук-тук-тук, тук-тук-тук… – билось сердце. Потом напряженный до предела слух Васютки уловил какой-то странный звук. Где-то слышалось жужжание.

Вот оно замерло и через секунду снова донеслось, как гудение далекого самолета. Васютка нагнулся и увидел у ног своих истлевшую тушку птицы. Опытный охотник – паук растянул над мертвой птичкой паутину. Паука уже нет – убрался, должно быть, зимовать в какое-нибудь дупло, а ловушку бросил. Попалась в нее сытая, крупная муха-плевок и бьется, бьется, жужжит слабеющими крыльями.

Что-то начало беспокоить Васютку при виде беспомощной мухи, влипшей в тенета. И тут его будто стукнуло: да ведь он заблудился!

Открытие это было настолько простым и потрясающим, что Васютка не сразу пришел в себя.

Он много раз слышал от охотников страшные рассказы о том, как блуждают люди в лесу и погибают иногда, но представлял это совсем не так. Уж очень просто все получилось. Васютка еще не знал, что страшное в жизни часто начинается очень просто.

Оцепенение длилось до тех пор, пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох в глубине потемневшего леса. Он вскрикнул и бросился бежать. Сколько раз он спотыкался, падал, вставал и снова бежал, Васютка не знал. Наконец он заскочил в бурелом и начал с треском продираться сквозь сухие колючие ветви. Потом упал с валежин вниз лицом в сырой мох и замер. Отчаяние охватило его, и сразу не стало сил. «Будь что будет», – отрешенно подумал он.

В лес бесшумно, как сова, прилетела ночь. А с нею и холод. Васютка почувствовал, как стынет взмокшая от пота одежда.

«Тайга, наша кормилица, хлипких не любит!» – вспомнились ему слова отца и дедушки. И он стал припоминать все, чему его учили, что знал из рассказов рыбаков и охотников.

Перво-наперво надо развести огонь. Ладно, что спички захватил из дому. Пригодились спички.

Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил все в кучку и поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Мох вспыхнул – вокруг посветлело. Васютка подбросил еще веток. Между деревьями зашарахались тени, темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело несколько комаров – веселее с ними.

Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, вздохнул и с тоской подумал: «Плачет, поди, мамка».

Ему тоже захотелось плакать, но он переборол себя и, ощипав глухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. Потом сгреб костер в сторону, на горячем месте выкопал ямку и положил туда птицу. Плотно закрыв ее мхом, присыпал горячей землей, золой, углями, сверху положил пылающие головни и подбросил дров.

Через час примерно он раскопал глухаря. От птицы шел пар и аппетитный запах: глухарь упрел в собственном соку – охотничье блюдо! Но без соли какой же вкус! Васютка через силу глотал пресное мясо.

– Эх, дурило, дурило! Сколько этой соли в бочках на берегу! Что стоило горсточку в карман сыпануть! – укорял он себя.

Потом вспомнил, что мешок, который он взял для шишек, был из-под соли, и торопливо вывернул его. Из уголков мешка он выковырял щепотку грязных кристалликов, раздавил их на прикладе ружья и через силу улыбнулся:

– Живем!

Поужинав, Васютка сложил остатки еды в мешок, повесил его на сук, чтобы мыши или кто-нибудь еще не добрался до харчей, и принялся готовить место для ночлега.

Он перенес в сторону костер, убрал все угольки, набросал веток с хвоей, мху и лег, накрывшись телогрейкой.

Снизу подогревало.

Занятый хлопотами, Васютка не так остро чувствовал одиночество. Но стоило лечь и задуматься, как тревога начала одолевать с новой силой. Заполярная тайга не страшна зверьем. Медведь здесь редкий житель. Волков нет. Змей – тоже. Бывает, встречаются рыси и блудливые песцы. Но осенью корма для них полно в лесу, и едва ли они могли бы позариться на Васюткины запасы. И все-таки было жутко. Он зарядил одноствольную переломку, взвел курок и положил ружье рядом. Спать!

Не прошло и пяти минут, как Васютка почувствовал, что к

нему кто-то крадется. Он открыл глаза и замер: да, крадется! Шаг, второй, шорох, вздох… Кто-то медленно и осторожно идет по мху. Васютка боязливо поворачивает голову и неподалеку от костра видит что-то темное, большое. Сейчас оно стоит, не шевелится.

Мальчик напряженно вглядывается и начинает различать вздетые к небу не то руки, не то лапы. Васютка не дышит: «Что это?» В глазах от напряжения рябит, нет больше сил сдерживать дыхание. Он вскакивает, направляет ружье на это темное:

– Кто такой? А ну подходи, не то сдану картечью!

В ответ ни звука. Васютка еще некоторое время стоит неподвижно, потом медленно опускает ружье и облизывает пересохшие губы. «В самом деле, что там может быть?» – мучается он и еще раз кричит:

– Я говорю, не прячься, а то хуже будет!

Тишина. Васютка рукавом утирает пот со лба и, набравшись храбрости, решительно направляется в сторону темного предмета.

– Ох, окаянный! – облегченно вздыхает он, увидев перед собой огромный корень-выворотень. – Ну и трус же я! Чуть ума не лишился из-за этакой чепухи.

Чтобы окончательно успокоиться, он отламывает отростки от корневища и несет их к костру.

Коротка августовская ночь в Заполярье. Пока Васютка управился с дровами, густая, как смоль, темень начала редеть, прятаться в глубь леса. Не успела она еще совсем рассеяться, а на смену ей уже выполз туман. Стало холоднее. Костер от сырости зашипел, защелкал, принялся чихать, будто сердился на волглую пелену, окутавшую все вокруг. Комары, надоедавшие всю ночь, куда-то исчезли. Ни дуновения, ни шороха.

Все замерло в ожидании первого утреннего звука. Что это будет за звук – неизвестно. Может быть, робкий свист пичужки или легкий шум ветра в вершинах бородатых елей и корявых лиственниц, может быть, застучит по дереву дятел или протрубит дикий олень.

Что-то должно родиться из этой тишины, кто-то должен разбудить сонную тайгу. Васютка зябко поежился, придвинулся ближе к костру и крепко заснул, так и не дождавшись утренней весточки.

Солнце уже было высоко. Туман росою пал на деревья, на землю, мелкая пыль искрилась всюду.

«Где это я?» – изумленно подумал Васютка и, окончательно проснувшись, услышал оживленную тайгу.

По всему лесу озабоченно кричали кедровки на манер

базарных торговок. Где-то по-детски заплакала желна. Над головой Васютки, хлопотливо попискивая, потрошили синички старое дерево. Васютка встал, потянулся и спугнул кормившуюся белку. Она, всполошенно цокая, пронеслась вверх по стволу ели, села на сучок и, не переставая цокать, уставилась на Васютку.

– Ну, чего смотришь? Не узнала? – с улыбкой обратился к ней Васютка.

Белка пошевелила пушистым хвостиком.

– А я вот заблудился. Понесся сдуру за глухарем и заблудился. Теперь меня по всему лесу ищут, мамка ревет… Не понимаешь ты ничего, толкуй с тобой! А то бы сбегала, сказала нашим, где я. Ты вон какая проворная! – Он помолчал и махнул рукой: – Убирайся давай, рыжая, стрелять буду!

Васютка вскинул ружье и выстрелил в воздух. Белка, будто пушинка, подхваченная ветром, метнулась и пошла считать деревья.

Проводив ее взглядом, Васютка выстрелил еще раз и долго ждал ответа. Тайга не откликалась. По-прежнему надоедливо, вразнобой горланили кедровки, неподалеку трудился дятел да пощелкивали капли росы, осыпаясь с деревьев.

Патронов осталось десять штук. Стрелять Васютка больше не решился. Он снял телогрейку, сбросил на нее кепку и, поплевав на руки, полез на дерево…

Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная. С высоты она казалась огромным темным морем. Небо не обрывалось сразу, как это бывает в горах, а тянулось далеко-далеко, все ближе прижимаясь к вершинам леса. Облака над головой были редкие, но чем дольше смотрел Васютка, тем они делались гуще, и наконец голубые проемы исчезли совсем. Облака спрессованной ватой ложились на тайгу, и она растворялась в них.

Долго Васютка отыскивал глазами желтую полоску лиственника среди неподвижного зеленого моря (лиственный лес обычно тянется по берегам реки), но кругом темнел сплошной хвойник. Видно, Енисей и тот затерялся в глухой, угрюмой тайге. Маленьким-маленьким почувствовал себя Васютка и закричал с тоской и отчаянием:

– Э-эй, мамка! Папка! Дедушка! Заблудился я!..

Голос его пролетел немного над тайгой и упал невесомо – кедровой шишкой в мох.

Медленно спустился Васютка с дерева, задумался да так и просидел с полчаса. Потом встряхнулся, отрезал мяса и, стараясь не смотреть на маленькую краюшку хлеба, принялся жевать. Подкрепившись, он собрал кучу кедровых шишек, размял их и

стал насыпать в карманы орехи. Руки делали свое дело, а в голове решался вопрос, один-единственный вопрос: «Куда идти?» Вот уж и карманы полны орехов, патроны проверены, к мешку вместо лямки приделан ремень, а вопрос все еще не решен. Наконец Васютка забросил мешок за плечо, постоял с минуту, как бы прощаясь с обжитым местом, и пошел строго на север. Рассудил он просто: в южную сторону тайга тянется на тысячи километров, в ней вовсе затеряешься. А если идти на север, то километров через сто лес кончится, начнется тундра. Васютка понимал, что выйти в тундру – это еще не спасение. Поселения там очень редки, и едва ли скоро наткнешься на людей. Но ему хотя бы выбраться из лесу, который загораживает свет и давит своей угрюмостью.

Погода держалась все еще хорошая. Васютка боялся и подумать о том, что с ним будет, если разбушуется осень. По всем признакам ждать этого осталось недолго.

Солнце пошло на закат, когда Васютка заметил среди однообразного мха тощие стебли травы. Он прибавил шагу. Трава стала попадаться чаще и уже не отдельными былинками, а пучками. Васютка заволновался: трава растет обычно вблизи больших водоемов. «Неужели впереди Енисей?» – с наплывающей радостью думал Васютка. Заметив меж хвойных деревьев березки, осинки, а дальше мелкий кустарник, он не сдержался, побежал и скоро ворвался в густые заросли черемушника, ползучего тальника, смородинника. Лицо и руки жалила высокая крапива, но Васютка не обращал на это внимания и, защищая рукой глаза от гибких ветвей, с треском продирался вперед. Меж кустов мелькнул просвет.

Впереди берег… Вода! Не веря своим глазам, Васютка остановился. Так он простоял некоторое время и почувствовал, что ноги его вязнут. Болото! Болота чаще всего бывают у берегов озер. Губы Васютки задрожали: «Нет, неправда! Бывают болота возле Енисея тоже». Несколько прыжков через чащу, крапиву, кусты – и вот он на берегу.

Нет, это не Енисей. Перед глазами Васютки небольшое унылое озеро, подернутое у берега ряской.

Васютка лег на живот, отгреб рукою зеленую кашицу ряски и жадно припал губами к воде. Потом он сел, усталым движением снял мешок, начал было вытирать кепкой лицо и вдруг, вцепившись в нее зубами, навзрыд расплакался.

… Заночевать решил Васютка на берегу озера. Он выбрал посуше место, натаскал дров, развел огонь. С огоньком всегда веселее, а в одиночестве тем более. Обжарив в костре шишки, Васютка одну за другой выкатал их из золы палочкой, как

печеную картошку. От орехов уже болел язык, но он решил: пока хватит терпения, не трогать хлеб, а питаться орехами, мясом, чем придется.

Опускался вечер. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката, тянулись живыми струями в глубину и терялись там, не достигая дна. Прощаясь с днем, кое-где с грустью тинькали синички, плакала сойка, стонали гагары. И все-таки у озера было куда веселее, чем в гуще тайги. Но здесь еще сохранилось много комаров. Они начали донимать Васютку. Отмахиваясь от них, мальчик внимательно следил за ныряющими на озере утками. Они были совсем не пуганы и плавали возле самого берега с хозяйским покрякиванием. Уток было множество. Стрелять по одной не было никакого расчета. Васютка, прихватив ружье, отправился на мысок, вдававшийся в озеро, и сел на траву. Рядом с осокой, на гладкой поверхности воды, то и дело расплывались круги. Это привлекло внимание мальчика. Васютка взглянул в воду и замер: около травы, плотно, одна к другой, пошевеливая жабрами и хвостами, копошились рыбы. Рыбы было так много, что Васютку взяло сомнение: «Водоросли, наверно?» Он потрогал траву палкой. Косячки рыбы подались от берега и снова остановились, лениво работая плавниками.

Столько рыбы Васютка еще никогда не видел. И не просто какой-нибудь озерной рыбы – щуки там, сороги или окуня, – нет, по широким спинам и белым бокам он узнал пелядей, чиров, сигов. Это было удивительнее всего. В озере – белая рыба!

Васютка сдвинул густые брови, силясь что-то припомнить. Но в этот момент табун уток-свиязей отвлек его от размышлений. Он подождал, пока утки поравняются с мысом, выделил пару и выстрелил. Две нарядные свиязи опрокинулись кверху брюшками и часто-часто задвигали лапками. Еще одна утка, оттопырив крыло, боком уплывала от берега. Остальные всполошились и с шумом полетели на другую сторону озера. Минут десять над водой носились табуны перепуганных птиц.

Пару подбитых уток мальчик достал длинной палкой, а третья успела уплыть далеко.

– Ладно, завтра достану, – махнул рукой Васютка.

Небо уже потемнело, в лес опускались сумерки. Середина озера напоминала сейчас раскаленную печку. Казалось, положи на гладкую поверхность воды ломтики картошки, они мигом испекутся, запахнет горелым и вкусным. Васютка проглотил слюну, еще раз поглядел на озеро, на кровянистое небо и с тревогой проговорил:

– Ветер завтра будет. А вдруг еще с дождем?

Он ощипал уток, зарыл их в горячие угли костра, лег на

пихтовые ветки и начал щелкать орехи.

Заря догорела. В потемневшем небе стыли редкие неподвижные облака. Начали прорезаться звезды. Показался маленький, похожий на ноготок, месяц. Стало светлее. Васютка вспомнил слова дедушки: «Вызвездило – к холоду!» – и на душе у него сделалось еще тревожнее.

Чтобы отогнать худые мысли, Васютка старался думать сначала о доме, а потом ему вспомнилась школа, товарищи.

Васютка дальше Енисея еще нигде не бывал и видел только один город – Игарку.

А много ли в жизни хотелось узнать и увидеть Васютке? Много. Узнает ли? Выберется ли из тайги? Затерялся в ней точно песчинка. А что теперь дома? Там, за тайгой, люди словно в другом мире: смотрят кино, едят хлеб… может, даже конфеты. Едят сколько угодно. В школе сейчас, наверное, готовятся встречать учеников. Над школьными дверями уже вывешен новый плакат, на котором крупно написано: «Добро пожаловать!»

Совсем приуныл Васютка. Жалко ему самого себя стало, начало донимать раскаяние. Не слушал вот он на уроках и в перемену чуть не на голове ходил… В школу съезжаются ребята со всей округи: тут и эвенки, тут и ненцы, и нганасаны. У них свои привычки. Бывало, достанет кто-нибудь из них на уроке трубку и без лишних рассуждений закуривает.

Особенно грешат этим малыши-первоклассники. Они только что из тайги и никакой дисциплины не понимают. Станет учительница Ольга Федоровна толковать такому ученику насчет вредности курева – он обижается; трубку отберут – ревет. Сам Васютка покуривал и им табачок давал.

– Эх, сейчас бы Ольгу Федоровну увидеть… – думал Васютка вслух. – Весь бы табак вытряхнул.

Устал Васютка за день, но сон не шел. Он подбросил в костер дров, снова лег на спину. Облака исчезли. Далекие и таинственные, перемигивались звезды, словно звали куда-то. Вот одна из них ринулась вниз, прочертила темное небо и тут же растаяла. «Погасла звездочка – значит, жизнь чья-то оборвалась», – вспомнил Васютка слова дедушки Афанасия.

Совсем горько стало Васютке.

«Может быть, увидели ее наши?» – подумал он, натягивая на лицо телогрейку, и вскоре забылся беспокойным сном.

Проснулся Васютка поздно, от холода, и не увидел ни озера, ни неба, ни кустов. Опять кругом был клейкий, неподвижный туман. Только слышались с озера громкие и частые шлепки: это играла и кормилась рыба.

Васютка встал, поежился, раскопал уток, раздул угольки.

Когда костер разгорелся, он погрел спину, потом отрезал кусочек хлеба, взял одну утку и принялся торопливо есть. Мысль, которая вчера вечером беспокоила Васютку, снова полезла в голову: «Откуда в озере столько белой рыбы?» Он не раз слышал от рыбаков, что в некоторых озерах будто бы водится белая рыба, но озера эти должны быть или были когда-то проточными. «А что, если?…»

Да, если озеро проточное и из него вытекает речка, она в конце концов приведет его к Енисею. Нет, лучше не думать. Вчера вон обрадовался – Енисей, Енисей, – а увидел шиш болотный. Нет, уж лучше не думать.

Покончив с уткой, Васютка еще полежал у огня, пережидая, когда уляжется туман. Веки склеивались. Но и сквозь тягучую, унылую дремоту пробивалось: «Откуда все же взялась в озере речная рыба?»

– Тьфу, нечистая сила! – выругался Васютка. – Привязалась как банный лист. «Откуда, откуда?» Ну, может, птицы икру на лапах принесли, ну, может, и мальков, ну, может… А, к лешакам все! – Васютка вскочил и, сердито треща кустами, натыкаясь в тумане на валежины, начал пробираться вдоль берега. Вчерашней убитой утки на воде не обнаружил, удивился и решил, что ее коршун утащил или съели водяные крысы.

Васютке казалось, что в том месте, где смыкаются берега, и есть конец озера, но он ошибся. Там был лишь перешеек. Когда туман растворился, перед мальчиком открылось большое, мало заросшее озеро, а то, возле которого он ночевал, было всего-навсего заливом – отголоском озера.

– Вот это да! – ахнул Васютка. – Вот где рыбищи-то, наверно… Уж здесь не пришлось бы зря сетями воду цедить. Выбраться бы, рассказать бы. – И, подбадривая себя, он прибавил: – А что? И выйду! Вот пойду, пойду и…

Тут Васютка заметил небольшой комочек, плавающий у перешейка, подошел ближе и увидел подбитую утку. Он так и обомлел: «Неужели моя? Как же ее принесло сюда?!» Мальчик быстро выломал палку и подгреб птицу к себе. Да, это была утка-свиязь с окрашенной в вишневый цвет головкой.

– Моя! Моя! – в волнении забормотал Васютка, бросая утку в мешок. – Моя уточка! – Его даже лихорадить начало. – Раз ветра не было, а утку отнесло, значит, есть тягун, озеро проточное!

И радостно, и как-то боязно было верить в это. Торопливо переступая с кочки на кочку, через бурелом, густые ягодники продирался Васютка. В одном месте почти из-под ног взметнулся здоровенный глухарь и сел неподалеку. Васютка показал ему кукиш:

– А этого не хочешь? Провалиться мне, если я еще свяжусь с вашим братом!

Поднимался ветер.

Качнулись, заскрипели отжившие свой век сухие деревья. Над озером заполошной стаей закружились поднятые с земли и сорванные с деревьев листья. Застонали гагары, вещая непогоду. Озеро подернулось морщинами, тени на воде заколыхались, облака прикрыли солнце, вокруг стало хмуро, неуютно.

Далеко впереди Васютка заметил входящую в глубь тайги желтую бороздку лиственного леса. Значит, там речка. От волнения у него пересохло в горле. «Опять какая-нибудь кишка озерная. Мерещится, и все», – засомневался Васютка, однако пошел быстрее. Теперь он даже боялся остановиться попить: что, если наклонится к воде, поднимет голову и не увидит впереди яркой бороздки?

Пробежав с километр по едва приметному бережку, заросшему камышом, осокой и мелким кустарником, Васютка остановился и перевел дух. Заросли сошли на нет, а вместо них появились высокие обрывистые берега.

– Вот она, речка! Теперь уж без обмана! – обрадовался Васютка.

Правда, он понимал, что речушки могут впадать не только в Енисей, но и в какое-нибудь другое озеро, но он не хотел про это думать. Речка, которую он так долго искал, должна привести его к Енисею, иначе… он обессилеет и пропадет. Вон, с чего-то уж тошнит…

Чтобы заглушить тошноту, Васютка на ходу срывал гроздья красной смородины, совал их в рот вместе со стебельками. Рот сводило от кислятины и щипало язык, расцарапанный ореховой скорлупой.

Пошел дождь. Сначала капли были крупные, редкие, потом загустело кругом, полилось, полилось… Васютка приметил пихту, широко разросшуюся среди мелкого осинника, и залег под нее. Не было ни желания, ни сил шевелиться, разводить огонь. Хотелось есть и спать. Он отковырнул маленький кусочек от черствой краюшки и, чтобы продлить удовольствие, не проглотил его сразу, а начал сосать. Есть захотелось еще сильнее. Васютка выхватил остатки горбушки из мешка, вцепился зубами и, плохо разжевывая, съел всю.

Дождь не унимался. От сильных порывов ветра качалась пихта, стряхивая за воротник Васютке холодные капли воды. Они ползли по спине. Васютка скорчился, втянул голову в плечи. Веки его сами собой начали смыкаться, будто повесили на них тяжелые грузила, какие привязывают к рыболовным сетям.

Когда он очнулся, на лес уж спускалась темнота, смешанная с дождем. Было все так же тоскливо; сделалось еще холоднее.

– Ну и зарядил, окаянный! – обругал Васютка дождь.

Он засунул руки в рукава, прижался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяжелым сном. На рассвете Васютка, стуча зубами от холода, вылез из-под пихты, подышал на озябшие руки и принялся искать сухие дрова. Осинник за ночь разделся почти донага. Будто тоненькие пластинки свеклы, на земле лежали темно-красные листья. Вода в речке заметно прибыла. Лесная жизнь примолкла. Даже кедровки и те не подавали голоса.

Расправив полы ватника, Васютка защитил от ветра кучу веток и лоскуток бересты. Спичек осталось четыре штуки. Не дыша, он чиркнул спичку о коробок, дал огоньку разгореться в ладонях и поднес к бересте. Она стала корчиться, свернулась в трубочку и занялась. Потянулся хвостик черного дыма. Сучки, шипя и потрескивая, разгорались. Васютка снял прохудившиеся сапоги, размотал грязные портянки. Ноги издрябли и сморщились от сырости. Он погрел их, высушил сапоги и портянки, оторвал от кальсон тесемки и подвязал ими державшуюся на трех гвоздях подошву правого сапога.

Греясь возле костра, Васютка неожиданно уловил что-то похожее на комариный писк и замер. Через секунду звук повторился, вначале протяжно, потом несколько раз коротко.

«Гудок! – догадался Васютка. – Пароход гудит! Но почему же он слышится оттуда, с озера? А-а, понятно».

Мальчик знал эти фокусы тайги: гудок всегда откликается на ближнем водоеме. Но гудит-то пароход на Енисее! В этом Васютка был уверен. Скорей, скорей бежать туда! Он так заторопился, будто у него был билет на этот самый пароход.

В полдень Васютка поднял с реки табун гусей, ударил по ним картечью и выбил двух. Он спешил, поэтому зажарил одного гуся на вертеле, а не в ямке, как это делал раньше. Осталось две спички, кончались и Васюткины силы. Хотелось лечь и не двигаться. Он мог бы отойти метров на двести – триста от речки. Там, по редколесью, было куда легче пробираться, но он боялся потерять речку из виду. Мальчик брел, почти падая от усталости. Неожиданно лес расступился, открыв перед Васюткой отлогий берег Енисея. Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой. Он бросился вперед, упал на край берега и жадными глотками стал хватать воду, шлепать по ней руками, окунать в нее лицо.

– Енисеюшко! Славный, хороший… – шмыгал Васютка носом и размазывал грязными, пропахшими дымом руками слезы по

лицу. От радости Васютка совсем очумел. Принялся прыгать, подбрасывать горстями песок. С берега поднялись стаи белых чаек и с недовольными криками закружились над рекой.

Так же неожиданно Васютка очнулся, перестал шуметь и даже несколько смутился, огляделся вокруг. Но никого и нигде не было, и он стал решать, куда идти: вверх или вниз по Енисею? Место было незнакомое. Мальчик так ничего и не придумал. Обидно, конечно: может быть, дом близко, в нем мать, дедушка, отец, еды сколько хочешь, а тут сиди и жди, пока кто-нибудь проплывет, а плавают в низовьях Енисея не часто.

Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу друг другу, хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вон там, в верховьях реки, появился дымок. Маленький, будто от папиросы. Дымок становится все больше и больше… Вот уж под ним обозначилась темная точка. Идет пароход. Долго еще ждать его. Чтобы как-нибудь скоротать время, Васютка решил умыться. Из воды на него глянул парнишка с заострившимися скулами. От дыма, грязи и ветра брови стали у него еще темнее, а губы потрескались.

– Ну и дошел же ты, друг! – покачал головой Васютка.

А что, если бы дольше пришлось бродить?

Пароход все приближался и приближался. Васютка уже видел, что это не обыкновенный пароход, а двухпалубный пассажирский теплоход. Васютка силился разобрать надпись и, когда наконец это ему удалось, с наслаждением прочитал вслух:

– «Серго Орджоникидзе».

На теплоходе маячили темные фигурки пассажиров. Васютка заметался на берегу.

– Э-эй, пристаньте! Возьмите меня! Э-эй!.. Слушайте!..

Кто-то из пассажиров заметил его и помахал рукой. Растерянным взглядом проводил Васютка теплоход.

– Эх, вы-ы, еще капитанами называетесь! «Серго Орджоникидзе», а человеку помочь не хотите…

Васютка понимал, конечно, что за долгий путь от Красноярска «капитаны» видели множество людей на берегу, около каждого не наостанавливаешься, – и все-таки было обидно. Он начал собирать дрова на ночь…

Эта ночь была особенно длинной и тревожной.

Васютке все казалось, что кто-то плывет по Енисею. То он слышал шлепанье весел, то стук моторки, то пароходные гудки.

Под утро он и в самом деле уловил равномерно повторяющиеся звуки: бут-бут-бут-бут… Так могла стучать только выхлопная труба рыбосборочного катера-бота.

– Неужели дождался? – Васютка вскочил, протер глаза и

закричал: – Стучит! – И опять прислушался и начал, приплясывая, напевать: – Бот стучит, стучит, стучит!..

Тут же опомнился, схватил свои манатки и побежал по берегу навстречу боту. Потом кинулся назад и стал складывать в костер все припасенные дрова: догадался, что у костра скорей его заметят. Взметнулись искры, высоко поднялось пламя. Наконец из предрассветной мглы выплыл высокий неуклюжий силуэт бота.

Васютка отчаянно закричал:

– На боте! Э-эй, на боте! Остановитесь! Заблудился я! Э-эй! Дяденьки! Кто там живой? Э-эй, штурвальный!..

Он вспомнил про ружье, схватил его и начал палить вверх: бах! Бах! Бах!

– Кто стреляет? – раздался гулкий, придавленный голос, будто человек говорил, не разжимая губ. Это в рупор спрашивали с бота.

– Да это я, Васька! Заблудился я! Пристаньте, пожалуйста! Пристаньте скорее!..

На боте послышались голоса, и мотор, будто ему сунули в горло паклю, заработал глуше. Раздался звонок, из выхлопной трубы вылетел клуб огня. Мотор затарахтел с прежней силой: бот подрабатывал к берегу.

Но Васютка никак не мог этому поверить и выпалил последний патрон.

– Дяденька, не уезжайте! – кричал он. – Возьмите меня! Возьмите!..

От бота отошла шлюпка.

Васютка кинулся в воду, побрел навстречу, глотая слезы и приговаривая:

– За-заблудился я-а, совсем заблудился-а…

Потом, когда втащили его в шлюпку, заторопился:

– Скорее, дяденьки, плывите скорее, а то уйдет еще бот-то! Вон вчера пароход только мелькнул…

– Ты, малый, що, сказывся?! – послышался густой бас с кормы шлюпки, и Васютка узнал по голосу и смешному украинскому выговору старшину бота «Игарец».

– Дяденька Коляда! Это вы? А это я, Васька! – перестав плакать, заговорил мальчик.

– Який Васька?

– Да шадринский. Григория Шадрина, рыбного бригадира, знаете?

– Тю-у! А як ты сюды попав?

И когда в темном кубрике, уплетая за обе щеки хлеб с вяленой осетриной, Васютка рассказывал о своих похождениях, Коляда хлопал себя по коленям и восклицал:

– Ай, скажэнный хлопець! Та на що тоби той глухарь сдався? Во налякав ридну маты и батьку.

– Еще и дедушку…

Коляда затрясся от смеха:

– Ой, шо б тоби! Он и дида вспомнил! Ха-ха-ха! Ну и бисова душа! Да знаешь ли ты, дэ тебя вынесло?

– Не-е-е.

– Шестьдесят километров ниже вашего стану.

– Ну-у?

– Оце тоби и ну! Лягай давай спать, горе ты мое гиркое…

Васютка уснул на койке старшины, закутанный в одеяло и в одежду, какая имелась в кубрике.

А Коляда глядел на него, разводил руками и бормотал:

– Во, герой глухариный спит соби, а батько с маткой с глузду зъихалы…

Не переставая бормотать, он поднялся к штурвальному и приказал:

– На Песчаному острови и у Корасихи не будет остановки. Газуй прямо к Шадрину.

– Понятно, товарищ старшина, домчим хлопца мигом!

Подплывая к стоянке бригадира Шадрина, штурвальный покрутил ручку сирены. Над рекой понесся пронзительный вой. Но Васютка не слышал сигнала.

На берег спустился дедушка Афанасий и принял чалку с бота.

– Что это вы сегодня один-одинешенек? – спросил вахтенный матрос, сбрасывая трап.

– Не говори, паря, – уныло отозвался дед. – Беда у нас, ой беда!.. Васютка, внук-то мой, потерялся. Пятый день ищем. Ох-хо-хо, парнишка-то был какой, парнишка-то, шустрый, востроглазый!..

– Почему был? Рано ты собрался его хоронить! Еще с правнуками понянчишься! – И, довольный тем, что озадачил старика, матрос с улыбкой добавил: – Нашелся ваш пацан, в кубрике спит себе и в ус не дует.

– Чего это? – встрепенулся дед и выронил кисет, из которого зачерпывал трубкой табак. – Ты… ты, паря, над стариком не смейся. Откудова Васютка мог на боте взяться?

– Правду говорю, на берегу мы его подобрали! Он там такую полундру устроил – все черти в болото спрятались!

– Да не треплись ты! Где Васютка-то? Давай его скорей! Цел ли он?

– Це-ел. Старшина пошел его будить.

Дед Афанасий бросился было к трапу, но тут же круто повернул и засеменил наверх, к избушке:

– Анна! Анна! Нашелся пескаришка-то! Анна! Где ты там? Скорее беги! Отыскался он…

В цветастом переднике, со сбившимся набок платком показалась Васюткина мать. Когда она увидела спускавшегося по трапу оборванного Васютку, ноги ее подкосились. Она со стоном осела на камни, протягивая руки навстречу сыну.

… И вот Васютка дома! В избушке натоплено так, что дышать нечем. Накрыли его двумя стеганными одеялами, оленьей дохой да еще пуховой шалью повязали.

Лежит Васютка на топчане разомлевший, а мать и дедушка хлопочут около, простуду из него выгоняют. Мать натерла его спиртом, дедушка напарил каких-то горьких, как полынь, корней и заставил пить это зелье.

– Может, еще что-нибудь покушаешь, Васенька? – нежно, как у больного, спрашивала мать.

– Да, мам, некуда уж…

– А если вареньица черничного? Ты ведь его любишь!

– Если черничного, ложки две, пожалуй, войдет.

– Ешь, ешь!

– Эх ты, Васюха, Васюха! – гладил его по голове дедушка. – Как же ты сплоховал? Раз уж такое дело, не надо было метаться. Нашли бы тебя скоро. Ну да ладно, дело прошлое. Му́ка – вперед наука. Да-а, глухаря-то, говоришь, завалил все-таки? Дело! Купим тебе новое ружье на будущий год. Ты еще медведя ухлопаешь. Помяни мое слово!

– Ни Боже мой! – возмутилась мать. – Близко к избе вас с ружьем не подпущу. Гармошку, приемник покупайте, а ружья чтобы и духу не было!

– Пошли бабьи разговоры! – махнул рукой дедушка. – Ну, поблукал маленько парень. Так что теперь, по-твоему, и в лес не ходить?

Дед подмигнул Васютке: дескать, не обращай внимания, будет новое ружье – и весь сказ!

Мать хотела еще что-то сказать, но на улице залаял Дружок, и она выбежала из избушки.

Из лесу, устало опустив плечи, в мокром дождевике, шел Григорий Афанасьевич. Глаза его ввалились, лицо, заросшее густой черной щетиной, было мрачно.

– Напрасно все, – отрешенно махнул он рукой. – Нету, пропал парень…

– Нашелся! Дома он…

Григорий Афанасьевич шагнул к жене, минуту стоял растерянный, потом заговорил, сдерживая волнение:

– Ну, а зачем реветь? Нашелся – и хорошо. К чему мокреть-то разводить? Здоров он? – И, не дожидаясь ответа, направился к избушке.

Мать остановила его:

– Ты уж, Гриша, не особенно строго с ним. Он и так лиха натерпелся. Порассказывал, так мурашки по коже…

– Ладно, не учи!

Григорий Афанасьевич зашел в избу, поставил в угол ружье, снял дождевик.

Васютка, высунув голову из-под одеяла, выжидательно и робко следил за отцом. Дед Афанасий, дымя трубкой, покашливал.

– Ну, где ты тут, бродяга? – повернулся к Васютке отец, и губы его тронула чуть заметная улыбка.

– Вот он я! – привскочил с топчана Васютка, заливаясь счастливым смехом. – Укутала меня мамка, как девчонку, а я вовсе не простыл. Вот пощупай, пап. – Он протянул руку отца к своему лбу.

Григорий Афанасьевич прижал лицо сына к животу и легонько похлопал по спине:

– Затараторил, варнак! У-у-у, лихорадка болотная! Наделал ты нам хлопот, попортил крови!.. Рассказывай, где тебя носило?

– Он все про озеро какое-то толкует, – заговорил дед Афанасий. – Рыбы, говорит, в нем видимо-невидимо.

– Рыбных озер мы и без него знаем много, да не вдруг на них попадешь.

– А к этому, папка, можно проплыть, потому что речка из него вытекает.

– Речка, говоришь? – оживился Григорий Афанасьевич. – Интересно! Ну-ка, ну-ка, рассказывай, что ты там за озеро отыскал…

Через два дня Васютка, как заправский провожатый, шагал по берегу речки вверх, а бригада рыбаков на лодках поднималась следом за ним.

Погода стояла самая осенняя. Мчались куда-то мохнатые тучи, чуть не задевая вершины деревьев; шумел и качался лес; в небе раздавались тревожные крики птиц, тронувшихся на юг. Васютке теперь любая непогода была нипочем. В резиновых сапогах и в брезентовой куртке, он держался рядом с отцом, приноравливаясь к его шагу, и наговаривал:

– Они, гуси-то, как взлетя-ят сразу все, я ка-ак дам! Два на месте упали, а один еще ковылял, ковылял и свалился в лесу, да я не пошел за ним, побоялся от речки отходить.

На Васюткины сапоги налипли комья грязи, он устал, вспотел

и нет-нет да и переходил на рысь, чтобы не отстать от отца.

– И ведь я их влет саданул, гусей-то…

Отец не отзывался. Васютка посеменил молча и опять начал:

– А что? Влет еще лучше, оказывается, стрелять: сразу вон несколько ухлопал!

– Не хвались! – заметил отец и покачал головой. – И в кого ты такой хвастун растешь? Беда!

– Да я и не хвастаюсь: раз правда, так что мне хвалиться, – сконфуженно пробормотал Васютка и перевел разговор на другое. – А скоро, пап, будет пихта, под которой я ночевал. Ох и продрог я тогда!

– Зато сейчас, я вижу, весь сопрел. Ступай к дедушке в лодку, похвались насчет гусей. Он любитель байки слушать. Ступай, ступай!

Васютка отстал от отца, подождал лодку, которую тянули бечевой рыбаки. Они очень устали, намокли, и Васютка постеснялся плыть в лодке и тоже взялся за бечеву и стал помогать рыбакам.

Когда впереди открылось широкое, затерявшееся среди глухой тайги озеро, кто-то из рыбаков сказал:

– Вот и озеро Васюткино…

С тех пор и пошло: Васюткино озеро, Васюткино озеро.

Рыбы в нем оказалось действительно очень много. Бригада Григория Шадрина, а вскоре и еще одна колхозная бригада переключились на озерный лов.

Зимой у этого озера была построена избушка. По снегу колхозники забросили туда рыбную тару, соль, сети и открыли постоянный промысел.

На районной карте появилось еще одно голубое пятнышко, с ноготь величиной, под словами: «Васюткино оз.». На краевой карте это пятнышко всего с булавочную головку, уже без названия. На карте же нашей страны озеро это сумеет найти разве сам Васютка.

Может, видели вы на физической карте в низовьях Енисея пятнышки, будто небрежный ученик брызнул с пера голубыми чернилами? Вот где-то среди этих кляксочек и есть та, которую именуют Васюткиным озером.

# Зачем я убил коростеля?

Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу.

Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже заваливаясь набок.

От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать – непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа!

Я догнал птицу в борозде и, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилищем.

Я взял в руку птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана.

Я узнал птицу – это был коростель. Дергач по-нашему. Все его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края – зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки – в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его.

И худое, почти невесомое тельце птицы ли, нехитрая ли окраска, а может, и то, что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность.

Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей.

Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни.

Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли.

И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки! Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке.

И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает

мне голос, прощая того несмышленого, азартного парнишку.

Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете.

Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «… где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косой не тронут, где васильковые глаза…» Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от гибельной зимы.

Не приспособленная к полету, но быстрая на бегу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути, и особенно при перелете через море.

Как идет коростель, где, какими путями – мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц – небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь никто не работает. Все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас, на Руси, пекут жаворонков к их прилету.

Птица коростель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти.

Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли.

Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?

# Милаха и кот Громило

Свирепее, прожорливее и коварнее всех вредителей на птицеферме была крыса с желтоватой, будто подпаленной шерстью на спине и с коротким хвостом. Должно быть, еще во времена разгульной молодости она лишилась половины хвоста – может быть, оторвали его крысы в драке, а может быть, в капкане оставила.

Эта крыса держала в страхе всех обитателей птичника. Мыши разбегались по сторонам, когда появлялась среди них толстая мордатая особа. Она была грозной владычицей темного царства, которое наперекор всем законам существовало под полом. Дядя Кузя слышал иногда шум, возню под половицами. Шум этот перекрывался властным визгливым голосом. После драки по углам долго и жалобно скулили крысы.

Куцехвостую крысу дядя Кузя прозвал Милахой.

Со стороны могло показаться, что отношения дяди Кузи и Милахи самые любезные и мирные.

Но это лишь со стороны. На самом же деле они люто ненавидели друг друга. Милаха ненавидела дядю Кузю за то, что он подрывал ее авторитет в крысином коллективе. А дядя Кузя ненавидел грозную атаманшу за то, что вот уже много лет она вместе со своей шайкой безнаказанно грабила колхоз. Шайка с каждым днем увеличивалась, а сама Милаха становилась наглей и развязней.

Отраву крысы не трогали. Видимо, их предводительница знала, что значит эта коричневая, с виду аппетитная масса. В капканы попадали только глупые мышки. Дядя Кузя понимал, что вся беда в Милахе. Стоит лишить банду главаря, в ней начнутся разлады, и она неминуемо погибнет.

Когда дядя Кузя приходил кормить кур, вся крысиная и мышиная семья рассыпалась по углам, шмыгала в норы и затихала. Но Милаха спокойно бегала по птичнику, ела из корытцев, не обращая ни малейшего внимания на старика.

– Кушаешь? – сдавленным голосом спрашивал дядя Кузя. – Ну-ну, кушай, гуляй, может, и подавишься.

Милаха переставала есть, поворачивала голову на голос и злобно ощеривалась.

Старик принимался собирать яйца из ящиков и как будто ненароком подвигался с автояйцесборочным агрегатом к Милахе. Но тактика эта была настолько стара и примитивна, что крыса даже не торопилась исчезать. Когда расстояние между нею и дядей Кузей сокращалось шагов до пяти, она не спеша, нахально

повиливая толстым задом, уходила в нору. Там сию же минуту раздавался жалобный писк. Милаха срывала злобу на «подчиненных» и для острастки или по каким другим соображениям кусала их.

А дядя Кузя, ударив об пол шапчонку, топал ногами, плевался, воздевал руки к потолку, призывая бога, боженят и всю «небесную канцелярию» или его успокоить смертью христианской, или покарать «нечистую силу».

Но вот перебрался дядя Кузя со своей неспокойной «публикой», как он называл кур и петухов, в новое здание птицефермы и облегченно вздохнул. Все! Ушел от прожорливой банды. Однако дядя Кузя поспешил успокоиться. Уже через три дня он услышал под полом беготню, резкий и, как показалось старику, озабоченный голос Милахи. Дядя Кузя чуть не заплакал от бессильной ярости.

А ночью по всему птичнику разносился треск, шорох, скрежет. Это многочисленные хищники, возглавляемые Милахой, грызли пол, копали норы, устраивались в новом помещении со всеми удобствами. Они сильно изголодались за последние дни, да и работа оказалась тяжелая: пришлось грызть крепкие половицы и бревна. Ворвавшись в новый птичник, мыши источили овес в бочках и ящиках, оставив вместо него мякину. Крысы загрызли насмерть несколько больных кур. А в скором времени обнаружилось, что они губят не только птицу.

Как-то вечером сходил дядя Кузя в баню, попарился и, усталый, разомлевший, побрел к себе на птичник. Здесь он подстриг усы ножницами и причесал вихры перед кругленьким зеркальцем, выключил радио, прилег на кровать и задремал.

Разбудил его какой-то подозрительный шорох.

Дядя Кузя подумал, что это по стенам бегают мыши. Они любят из пазов выдергивать мох и делать там потайные ходы и лазейки. Но вместо мышей дядя Кузя увидел Милаху. Она торопливо забралась по стене в нижний ящик, один из тех, куда дядя Кузя выкладывал яйца из агрегата, перед тем как сдать их в кладовую колхоза. Милаха обнюхала яйца и, ухватив одно из них лапами, потащила к краю.

Дядя Кузя притворился спящим: прикрыл глаза и стал даже похрапывать. Милаха осмотрелась, пошевелила седыми усами, прикинула расстояние до пола и вдруг, повернувшись, упала на спину. Удержать яйцо она не сумела и выпустила его из лап. Яйцо треснуло и разбилось.

Дядя Кузя думал, что это только и нужно крысе, но ошибся. Она что-то посоображала и проворно юркнула под пол.

Через минуту атаманша появилась в сопровождении трех

«подчиненных». Они легли на спины в ряд, а Милаха забралась в ящик, подкатила к краю яйцо, прицелилась и сбросила его на мягкие животы крыс. Те вскочили и моментально укатили яйцо под пол.

Вскоре они вернулись, и все повторилось сначала.

Дядя Кузя не выдержал:

– Ловко, в чаю плавает веревка!

Крысы бросились врассыпную, оставив на полу яйцо. Дядя Кузя взял его в руки, осмотрел и задумался. Он давно подозревал, что крысы таскают яйца, но как они это делают, ни разу не видел.

Утром дядя Кузя пошел в правление колхоза, чтобы рассказать о проделках крыс. Здесь любили слушать о происшествиях на птицеферме и часто спрашивали старика:

– Ну, как там Милаха твоя поживает?

Тот всегда со смешком отвечал:

– Живет, колхозный хлеб жует, что ей?

Но в этот раз дядя Кузя был хмур и на обычный веселый вопрос отозвался без смеха:

– Она живет и не один хлеб жует.

Сообщению многие не поверили. Однако нашлись люди, которые начали рассказывать о крысах еще более занятные истории, например, о том, как в одном магазине крысы через соломинку выпили красное вино из бочки, а милиция обвинила в этом завмага… Словом, разговор пошел интересный, но дядя Кузя, к удивлению всех, не поддержал его и даже резко оборвал:

– Надо подумать, как колхозное добро сохранить, а вы сказками занимаетесь.

– Ну-у, это не по совести, тебе врать не мешали, – обиделись рассказчики.

Тогда дядя Кузя взорвался: раз так, больше он на этот проклятый птичник не пойдет, а пусть туда отправляется председатель. Милаха со своей компанией быстро доведет его до припадков.

Уж на что он, дядя Кузя, железный человек, а нервы и у него до того расшатались, что он за себя порой не ручается. В подтверждение этого дядя Кузя так хватил дверью, что со стола бухгалтера упала чернильница.

Днем на птичник заглянул председатель колхоза. Дядя Кузя показал ему разбитое яйцо, испорченный пол, множество нор. Под конец пожаловался, что свои харчишки вынужден уносить на улицу и есть мерзлый хлеб. А с его зубами и свежий не разжуешь. Председатель первый раз слышал от дяди Кузи жалобу на «личное» и поэтому изумился:

– Да это и в самом деле беда! – И, подумав, предложил: –

Слушай, возьми хоть на время нашу Муську, она, правда, ленива, но, говорят, крысы, а особенно мыши, кошачьего запаха боятся.

Председателева кошка Муська оказалась не только ленивой, но и трусливой. Она не выдержала на птичнике и одной ночи.

Сначала она принюхивалась, хвостом помахивала. Но вот стемнело, подняли крысы возню под полом, завизжали, забегали.

Муська – под кровать.

Однако и там ей показалось жутковато. Она прыгнула к дяде Кузе на постель, но была с презрением вышвырнута оттуда.

Дядя Кузя ругал ее последними словами, а председателя нещадно срамил за то, что тот держит в доме такую бесполезную скотину и вырастил на колхозных хлебах буржуйскую барыню.

Утром Муська подошла к двери и замяукала: отпустите, мол, ради бога, тут пропадешь! Дядя Кузя открыл дверь, пнул напоследок гладкую кошку и плюнул ей вдогонку.

Вскоре дядя Кузя поехал в город на рынок и увидел там бездомного тощего кота, с одним ухом и дикими глазами.

Кот шлялся по рынку, учинял дерзкие налеты на мясные ряды и на глазах у публики схватил воробья, дремавшего под крышей молочного павильона.

Люди махали руками, топали, пытались устрашить бродягу.

Кот устроился на перекладинке, и оттуда на головы базарных торговок полетели перья.

Съев птичку, кот утерся лапой и занялся дальнейшим промыслом, а дядя Кузя, хватая соседей за руки, с восторгом кричал:

– Вот это ко-от! Это громи-ило! Мне бы такого на ферму.

– Так возьми, кто тебе не велит? Весь рынок из-за него горько плачет.

– Где ж такого поймаешь? – с уважением сказал дядя Кузя. – Он небось столько бит, что людей пуще огня боится.

Но все же дядя Кузя отыскал на рынке мальчишек и пообещал им рубль за доставку кота. Через полчаса мальчишки принесли дяде Кузе базарного пирата и, показывая исцарапанные в кровь руки, потребовали:

– Добавляй, дедушка, еще монетку, чать, пострадали.

Дядя Кузя добавил монетку – двадцать копеек.

Так бездомный кот очутился на ферме и получил с легкой руки дяди Кузи грозное имя – Громило.

Коту на птицеферме понравилось. Он огляделся, для зачина стянул со стола кусок сала, умял его тайком и завалился спать в бочку с овсом.

Дядя Кузя за сало кота не ругал, не наказывал. Он выслуживался перед этим бездомным бродягой, старался

размягчить его ожесточенную душу лаской и заботой. Он даже попытался погладить кота, но тот всадил когти в руку старика. Дядя Кузя стерпел и это. Он готов был пойти на любые унижения и муки ради того, чтобы кот прижился на ферме.

Выспавшись, Громило полакал воды, зевнул и вдруг мгновенно преобразился. Хвост его начал бесшумно перекладываться из стороны в сторону, как руль. Шея укоротилась. Он сжался, напружинился и сделал неожиданный бросок в угол, к бочкам. Раздался писк, и через минуту Громило появился с мышью в зубах.

Глаза его горели беспощадным зеленым огнем!

Нет, он не играл с пойманной мышью. Этому суровому бойцу не было известно, что в мире существуют развлечения. Зато Громило хорошо знал, что такое голод. Не успел он распорядиться добычей, как снова насторожился и снова сделал прыжок.

Дядя Кузя тихо ликовал:

– Все! Пропала банда! Кранты!

Утром дядя Кузя обнаружил возле печки кучу мышей. Были они всяких мастей и пород. Сам кот Громило с подозрительно раздувшимся животом дремал на плите, утомленный ночной работой.

Дядя Кузя не стал даже чай разогревать, чтобы не беспокоить охотника. Он схватил бутылку и бесшумно выскочил из птичника.

Через час старик вернулся из деревни с молоком. За это время все колхозники успели узнать, что в здешних краях появился кот Громило, который наведет порядок не только на ферме, но и во всей деревне.

Дядя Кузя налил в консервную банку молока и, когда кот проснулся, робко попросил:

– Попил бы молочишка на верхосытку.

Громило не заставил себя упрашивать, вылакал все молоко и забрался в бочку с овсом – досыпать.

Ночью он снова промышлял.

Затихли визги под полом, прекратились возня и беготня.

Крысы и мыши попали в осаду, воровали редко, жили в постоянном страхе, вскрикивали по ночам. Наверное, являлась им во сне светящаяся жуткими зелеными огнями морда кота Громилы.

Порою ходил Громило с дядей Кузей в птичник, где не совсем равнодушно поглядывал на кур.

Дядя Кузя однажды укорил кота:

– А что, брат, Милаху-то не берет твой зуб? Мышками да крысятами развлекаешься. Ты вот излови ее, анафему, тогда

будешь соответствовать целиком и полностью своему имени.

Но враг ушел в подполье, не принимал открытого боя. Тогда дядя Кузя зацементировал все дыры в обеих половинах птичника и оставил всего одну, в кормокухне. Это значительно облегчило работу коту Громиле.

Милаха не показывалась. Но в том, что она жила и действовала, не было никакого сомнения. Иногда под полом возникала борьба и снова слышался резкий, как скрип пилы, голос старой атаманши.

Громило уже знал этот голос. Он настораживался, шел к норе, шевелил хвостом и дежурил, дежурил. Иногда у норы поднимался визг, хрип, шум, и Громило оттаскивал к плите мертвую крысу.

Дядя Кузя бежал посмотреть, но это оказывались всего лишь «подчиненные» Милахи, которых она, видать, высылала на разведку.

Кот Громило отъелся настолько, что его можно было, хотя и под сомнением, пускать одного к курам. Дядя Кузя однажды закрыл кота в птичнике.

Среди ночи в той половине, где был оставлен Громило, поднялся переполох. Куры хлестали крыльями, петухи орали. Дядя Кузя сунул ноги в валенки и поспешил туда.

В полутемном углу птичника, под ящиками несушек, он обнаружил искусанного, окровавленного кота Громилу. Кот старательно зализывал раны. Поодаль от него валялась с растерзанной головой Милаха.

Громило даже не глядел на нее.

Дядя Кузя склонился над израненным котом. Не решаясь погладить или приласкать его, старик лишь словами выражал свое восхищение:

– Громилушко! Воин ты великий! Изничтожил ты гада-вредителя!.. Тыщи ты колхозные спас, и полагается тебе за это большая премия в виде молока и рыбы. Дают же премии пограничным собакам за верную службу? Дают. Так вот и для тебя я стребую. Если не стребую, значит, я не старый красный партизан, и пусть меня тогда прогонят с должности заведующего фермой в шею.

Премию Громило получил. Слух о героическом коте облетел все окрестные деревни. Люди приходили дивиться на кота Громилу, целым классом прибывали школьники. Учитель написал о коте Громиле поэму, но ее забраковали в районной газете, ответили, что газета отражает героические дела людей, а не животных. Из-за этого районная газета потеряла еще одного читателя: дядя Кузя перестал подписываться на нее.

# Бойе

По своей воле и охоте редко уже мне приходится ездить на родину. Все чаще зовут туда на похороны и поминки – много родни, много друзей и знакомцев – это хорошо, много любви за жизнь получишь и отдашь, да хорошо, пока не подойдет пора близким тебе людям падать, как падают в старом бору перестоялые сосны, с тяжелым хрустом и долгим выдохом…

Однако доводилось мне бывать на Енисее и без зова кратких скорбных телеграмм, выслушивать не одни причитания. Случались счастливые часы и ночи у костра на берегу реки, подрагивающей огнями бакенов, до дна пробитой золотыми каплями звезд; слушать не только плеск волн, шум ветра, гул тайги, но и неторопливые рассказы людей у костра на природе, по-особенному открытых, рассказы, откровения, воспоминания до темнозори, а то и до утра, занимающегося спокойным светом за дальними перевалами, пока из ничего не возникнут, не наползут липкие туманы, и слова сделаются вязкими, тяжелыми, язык неповоротлив, и огонек притухает, и все в природе обретет ту долгожданную миротворность, когда слышно лишь младенчески-чистую душу ее. В такие минуты остаешься как бы один на один с природою и с чуть боязной тайной радостью ощутишь: можно и нужно, наконец-то, довериться всему, что есть вокруг, и незаметно для себя отмякнешь, словно лист или травинка под росою, уснешь легко, крепко и, засыпая до первого луча, до пробного птичьего перебора у летней воды, с вечера хранящей парное тепло, улыбнешься давно забытому чувству – так вот вольно было тебе, когда ты никакими еще воспоминаниями не нагрузил память, да и сам себя едва ли помнил, только чувствовал кожей мир вокруг, привыкал глазами к нему, прикреплялся к древу жизни коротеньким стерженьком того самого листа, каким ощутил себя сейчас вот, в редкую минуту душевного покоя…

Но так уж устроен человек: пока он жив – растревоженно работают его сердце, голова, вобравшая в себя не только груз собственных воспоминаний, но и память о тех, кто встречался на росстанях жизни и навсегда канул в бурлящий людской водоворот либо прикипел к душе так, что уж не оторвать, не отделить ни боль его, ни радость от своей боли, от своей радости.

… Тогда еще действовали орденские проездные билеты, и, получив наградные деньги, скопившиеся за войну, я отправился в Игарку, чтобы вывезти из Заполярья бабушку из Сисима.

Дядья мои Ваня и Вася погибли на войне, Костька служил во

флоте на севере, бабушка из Сисима жила в домработницах у заведующей портовым магазином, женщины доброй, но плодовитой, смертельно устала от детей, вот и просила меня письмом вызволить ее с севера, от чужих, пусть и добрых людей.

Я многого ждал от той поездки, но самое знаменательное в ней оказалось все же то, что высадился я с парохода в момент, когда в Игарке опять что-то горело, и мне показалось, никуда я не уезжал, не промелькнули многие годы, все как стояло, так и стоит на месте, вон даже такой привычный пожар полыхает, не вызывая разлада в жизни города, не производит сбоя в ритме работы. Лишь ближе к пожару толпился и бегал кой-какой народ, гундели красные машины, по заведенному здесь обычаю качая воду из лыв и озерин, расположенных меж домов и улиц, громко трещала, клубилась черным дымом постройка, к полному моему удивлению оказавшаяся рядом с тем домом, где жила в домработницах бабушка из Сисима.

Хозяев дома не оказалось. Бабушка из Сисима в слезах пребывала и в панике: соседи начали на всякий случай выносить имущество из квартир, а она не смела – не свое добро-то, вдруг чего потеряется?…

Ни обопнуться, ни расцеловаться, ни всплакнуть, блюдя обычай, мы не успели. Я с ходу принялся увязывать чужое имущество. Но скоро распахнулась дверь, через порог рухнула тучная женщина, доползла на четвереньках до шкафчика, глотнула валерианки прямо из пузырька, отдышалась маленько и слабым мановением руки указала прекратить подготовку к эвакуации: на улице успокоительно забрякали в пожарный колокол – чему надо сгореть, то сгорело, пожар, слава богу, на соседние помещения не перекинулся, машины разъезжались, оставив одну, дежурную, из которой неспешно поливали чадящие головешки. Вокруг пожарища стояли молчаливые, ко всему привычные горожане, и только сажей перепачканная плоскоспинная старуха, держа за ручку спасенную поперечную пилу, голосила по кому-то или по чему-то.

Пришел с работы хозяин, белорус, парень здоровый, с неожиданною для его роста и национальности продувной рожей и характером. Мы с ним и с хозяйкою крепко выпили. Я погрузился в воспоминания о войне, хозяин, глянув на мою медаль и орден, сказал с тоской, но безо всякой, впрочем, злости, что у него тоже были и награды, и чины, да вот сплыли.

Назавтра был выходной. Мы с хозяином пилили дрова в Медвежьем логу. Бабушка из Сисима собиралась в дорогу, брюзжала под нос: «Мало имя меня, дак ишшо и пальня сплатируют!» Но я пилил дрова в охотку, мы перешучивались с

хозяином, собирались идти обедать, как появилась по-над логом бабушка из Сисима, обшарила низину не совсем еще выплаканными глазами и, обнаружив нас, потащилась вниз, хватаясь за ветки. За нею плелся худенький, тревожно знакомый мне паренек в кепочке-восьмиклинке, в оборками висящих на нем штанах. Он смущенно и приветно мне улыбался. Бабушка из Сисима сказала по-библейски:

– Это брат твой.

– Колька!

Да, это был тот самый малый, что, еще не научившись ходить, умел уже материться, и с которым однажды чуть не сгорели мы в руинах старого игарского драмтеатра.

Отношения мои после возвращения из детдома в лоно родимой семьи опять не сложились. Видит бог, я пытался их сложить, какое-то время был смирен, услужлив, работал, кормил себя, часто и мачеху с ребятишками – папа, как и прежде, пропивал все до копейки и, следуя вольным законам бродяг, куролесил по свету, не заботясь о детях и доме.

Кроме Кольки, был уже в семье и Толька, а третий, как явствует из популярной современной песни, хочет он того или не хочет, «должен уйти», хотя в любом возрасте, на семнадцатом же году особенно страшно уходить на все четыре стороны – мальчишка не переборол еще себя, парень не взял над ним власти – возраст перепутный, неустойчивый. В эти годы парни, да и девки тоже совершают больше всего дерзостей, глупостей и отчаянных поступков.

Но я ушел. Навсегда. Чтоб не быть «громоотводом», в который всаживалась вся пустая и огненная энергия гулевого папы и год от года все более дичающей, необузданной в гневе мачехи, ушел, но тихо помнил: есть у меня какие-никакие родители, главное, ребята, братья и сестры, Колька сообщил – уже пятеро! Трое парней и две девочки. Парни довоенного производства, девочки создались после того, как, повоевав под Сталинградом в составе тридцать пятой дивизии в должности командира сорокапятки, папа, по ранению в удалую голову, был комиссован домой.

Я возгорелся желанием повидать братьев и сестер, да, что скрывать, и папу тоже повидать хотелось. Бабушка из Сисима со вздохом напутствовала меня:

– Съезди, съезди… отец всеш-ки, подивуйся, штоб самому эким не быть…

Работал папа десятником на дровозаготовках, в пятидесяти верстах от Игарки, возле станка Сушково. Мы плыли на древнем, давно мне знакомом боте «Игарец». Весь он дымился, дребезжал

железом, труба, привязанная врастяжку проволоками, ходуном ходила, того и гляди отвалится; от кормы до носа «Игарец» пропах рыбой, лебедка, якорь, труба, кнехты, каждая доска, гвоздь и вроде бы даже мотор, открыто шлепающий на грибы похожими клапанами, непобедимо воняли рыбой. Мы лежали с Колькой на мягких белых неводах, сваленных в трюм. Между дощаным настилом и разъеденным солью днищем бота хлюпала и порой выплескивалась ржавая вода, засоренная ослизлой рыбьей мелочью, кишками, патрубок помпы забивало чешуей рыбы, она не успевала откачивать воду, бот в повороте кренило на бок, и долго он так шел, натужно гукая, пытаясь выправиться на брюхо, а я слушал брата. Но что нового он мог мне рассказать о нашей семейке? Все как было, так и есть, и потому я больше слышал не его, а машину, бот, и теперь только начинал понимать, что времени все же минуло немало, что я вырос и, видать, окончательно отделился от всего, что я видел и слышал в Игарке, что вижу и слышу на пути в Сушково. А тут еще «Игарец» булькал, содрогался, старчески тяжело выполнял привычную свою работу, и так жаль было мне эту вонючую посудину.

Я раскаиваться начал, что поехал в Сушково, но дрогнуло, затрепыхалось сердце, когда возле одиноко и плоско стоявшего на низком берегу барака увидел я косолапенького, уже седого человека, чисто выбритого, с пятнышками усов-бабочек под чутко и часто шмыгающим носом. Нет, пока еще никто и ничто не отменило, не побороло в нас чувство, занимающее место в сердце помимо нашей воли. Сердце прежде меня почуяло, узнало родителя! Чуть в стороне, на зеленом приплеске, топталась все еще по-молодому стройная женщина со сбитым на затылок платком. К реке, навстречу боту «Игарец», в изнеможении остановившемуся на якоре, но все еще продолжающему дымить во все дыры, взбивая желтенький дымок пересеянного ветрами песка, мчались ребятишки, обутые и одетые кто во что, за ними с лаем неслась белая собака…

Телеграммы в Сушково мы не давали, да она сюда и не дошла бы, Коля, ездивший поступать в игарскую школу и там случайно подцепивший меня, выскочил на берег и, частя, захлебываясь, кричал, показывая на трап:

– Папка! Папка! Гляди, кого я привез-то!..

Отец затоптался на месте, заколесил ногами, засуетился руками, сорвался вдруг, легко, как в молодости, побежал навстречу, обнял меня, для чего ему пришлось подняться на цыпочки, неумело поцеловал, чем смутил меня изрядно – последний раз он облобызал родное чадо лет четырнадцать назад, возвратившись с великой стройки Беломорканала.

– Живой! Слава богу, живой! – По лицу родителя катились слабые, частые слезы. – А мне кто-то писал или сказывал, будто погиб ты на фронте, пропал без вести, ли че ли…

Вот так вот: «не то погиб, не то пропал без вести, ли че ли…» Эх папа! Папа!..

Мачеха все так же отчужденно стояла на приплеске, не двигаясь с места, чаще и встревоженней дергалась ее голова.

Я подошел, поцеловал ее в щеку.

– А мы правда думали, пропал, – сказала она. И не понять было, сожалеет или радуется.

– Я женат. У меня своя семья. Заехал повидаться, – поспешил я успокоить родителей и, почувствовав ихнее да и свое облегчение, обругал себя: «Все ищешь, недотыка, то, чего не терял!»

Ребятишки, лесные, диковатые от безлюдья, не сразу, но привыкли ко мне, а привыкнув, как водится, и прилипли, показывали удочки, самопалы, тащили на реку и в лес. Коля не отходил от меня ни на шаг. Вот кто умел быть душевно преданным каждому человеку, родне же преданным до болезненности. За братом тенью таскался кобель по кличке Бойе. Бойе или Байе – по-эвенкийски друг. Коля кликал собаку по-своему – Боё, и потому как частил словами, в лесу звучало сплошняком «ё-ё-ё-о-о-о».

Из породы северных лаек, белый, но с серыми, точно золой припачканными передними лапами, с серенькой же полоской вдоль лба, Бойе не корыстен с виду. Вся красота его и ум были в глазах, пестроватых, мудроспокойных, что-то постоянно вопрошающих. Но о том, какие умные глаза бывают у собак и особенно у лаек, говорить не стоит, о том все сказано. Повторю лишь северное поверье: собака, прежде чем стать собакой, побыла человеком, само собою, хорошим. Это детски-наивное, но святое поверье совсем не распространяется на постельных шавок, на раскормленных до телячьих размеров псин, обвешанных медалями за породистое происхождение. Среди собак, как и среди людей, встречаются дармоеды, кусучие злодеи, пустобрехи, рвачи – дворянство здесь так искоренено и не было, оно приняло лишь комнатные виды.

Бойе был труженик, и труженик безответный. Он любил хозяина, хотя сам-то хозяин никого, кроме себя, не умел любить, но так природой назначено собаке – быть привязанной к человеку, быть ему верным другом и помощником.

Суровой северной природой рожденный, свою верность Бойе доказывал делом, ласки не терпел, подачек за работу не требовал, питался отбросами со стола, рыбой, мясом, которые помогал

добывать человеку, спал круглый год на улице, в снегу, и только в самые лютые морозы, когда мокрый чуткий его нос, хоть и укрытый пушистым хвостом, засургучивало стужей, он деликатно царапался в дверь и, впущенный в тепло, тут же забивался под лавку, подбирал лапы, сжимался в клубочек и робко следил за людьми – не мешает ли? Поймав чей-либо взгляд, коротким взмахом хвоста просил его извинить за вторжение и за псиный запах, в морозы особенно густой и резкий. Ребятишки норовили чего-нибудь сунуть собаке, покормить ее с руки. Бойе обожал детишек и, понимая, что нельзя малым людям, так нежно пахнущим, учинять обиду отказом, но и пользоваться их подачками ему не к лицу, прижавши уши к голове, смотрел на хозяина, как бы говоря: «Не польстился бы я на угощение, но дети ж неразумные…» И, не получив ни дозволения, ни отказа, однако угадав, что хозяин хоть и не благоволит баловству, однако ж и не перечит, Бойе вежливо снимал с детской руки замусоленный осколочек сахару или корочку хлебца, чуть слышно хрустел под лавкой, благодарно шаркал языком розовую ладошку, попутно и лицо, да и закрывал поскорее глаза, давая понять, что он насытился и взяла его дрема. На самом же деле за всеми наблюдал, все видел и слышал.

С каким облегчением кобель вываливался из избяной утесненности, когда чуть теплело на дворе. Он валялся в снегу, отряхивался, выбивая из себя застойный дух тесного человеческого жилья. Подвявшие в тепле уши снова ставил топориком и, озырнувшись на избу – не видит ли хозяин, бегал за Колькой, цепляя его зубами за телогрейку. Колька был единственным на свете существом, с которым Бойе позволял себе играть, да и то по молодости лет, после отрекся от всяких игр, отодвигался от ребятишек, поворачивался к ним задом. Если уж они совсем неотвязны делались, не очень чтобы грозно, скорее предупредительно, заголял зубы, катал в горле рык и в то же время давал взглядом понять, что досадует он не со зла, от усталости…

Без охоты Бойе жить не мог. Если отец или Колька по какой-либо причине долго не ходили в лес, Бойе ронял хвост, лопоухо опускал голову, неприкаянно бродил, никак не мог найти себе места, даже повизгивал и скулил, точно хворый.

На него кричали, и он послушно смолкал, но томленье и беспокойство не покидали его. Иногда Бойе один убегал в тайгу, подолгу там пропадал. Как-то припер в зубах глухаря, по первому снегу вытропил песца, пригнал его к бараку и до того загонял бедную зверушку вокруг поленницы дров, что, когда на гам и лай вышел хозяин, песчишко сунулся ему меж ног, отыскивая

спасенье и защиту.

Бойе шел по птице, по белке, нырял в воду за подраненной ондатрой, и все губы у него были изорваны бесстрашными зверьками. Он умел в тайге делать все и соображал, как не полагалось животному, чем вбивал в суеверие лесных людей – они его побаивались, подозревая нечистое дело. Не раз спасал и выручал Бойе Кольку – друга своего. Тот однова так забегался за подранком-глухарем, что затемняло в тайге, и замерз бы лихой охотник в снегу, да Бойе сперва отыскал, затем привел к нему людей.

Было это ранней зимой, а по весне Колька приволокся на глухое озеро пострелять уток. Бойе обежал лесом озеро, прошлепал по мелкому таю, остановился на обмыске и замер в стойке, глядя в воду. «Чего-то узрел!» – насторожился Колька. Бойе приосел в осоке, пополз к урезу берега, вдруг пружинисто взметнулся, бултых в воду! «Вот дурень! – улыбнулся Колька. – Засиделся коло дома, балуется». Но Бойе тащил что-то в зубах, бросил на берег, отряхнулся. Колька приблизился и опешил – в траве каталась щучина килограмма на два. Бойе ее лапой прижал, ухмыляется.

Услышав этакое сообщение, папа хотел дать охотнику порку за вранье, но Колька настоял сходить еще раз на озеро, потом, мол, лупцуй, если набрехал. Когда Бойе выпер вновь из воды щучину, папа, которого вроде бы ничем уже было не удивить на этом свете, развел руками: «Чего за свою бурную жизнь ни перевидел, – говорит, – приключений каких только ни изведал, однако подобного дива не зрел еще. Бестия – не кобель! Раньше бы меня повесили вместе с собакой на лиственнице або утопили обоих – за колдовство, привязавши к одному камню…»

В ту пору часть буксирных пароходов ходила еще на дровах. Надолго причалив к берегу у Сушкова, суда запасались топливом, которое тут зимами ширкал наезжий люд, все больше ссыльный.

Был Бойе большой любитель встречать и провожать пароходы. Однажды он забежал на буксир, отыскивая отца, подавшегося разведать насчет выпивки, и, пока хозяин искал горючку или пиво, а кобель искал хозяина, деляги с буксира поймали его на поводок. Никогда не кусал Бойе людей и не знал, что иной раз укусить их следовало бы. Пароход набрал дров, загудел и наладился отваливать. Тут и хватилась семья – нет кормильца и сторожа. Покричали его, позвали – не откликается.

Заревели ребятишки в голос, мачеха заревела – пропадать без собаки. Папа чалку не отдает. Капитан штрафом грозится за задержку судна. Ругались, ругались пароходные люди, но все же подали трап. Весь буксир обошел, обшарил поднабравшийся папа

– нет собаки. И тогда он решительно крикнул:

– Ко мне, Бойе!

И тут же из машинного отделения буксира раздался рыдающий голос кобеля. Конфуз и паника были на пароходе, потому что папа рвался пальнуть из ружья по рубке капитана, но семья висела на нем, отымала ружье. Папа все же пальнул дробью вослед кораблю, да не достал, тот уже был далеко от берега.

Бойе отводил глаза, виновато вилял хвостом, стыдясь оплошки. К пароходам он с тех пор близко не подходил. Сядет на подмытом приплеске, посматривает на пароход и озирается на кусты, дескать, чуть что, дерану в лес, только меня и видали!

К поре моего свидания с семьей должность десятника на дровозаготовках крепко уже утомила папу, душа его жаждала перемен, бурной деятельности – замышлял он податься в начальники рыбного участка, так как по сию пору считал себя непревзойденным специалистом по обработке рыбы.

Я отговаривал родителя – только что был опубликован грозный, карающий указ о финансовой и иной ответственности, толковал ему о том, что семья, слава богу, при месте, от тайги питается мясом, рыбой, ягодами и орехами, мол, воздвиг досрочно Беломорканал и довольно с него трудовых подвигов, на что родитель ответствовал коротко и решительно: «Яйца курицу не учат!» И вскоре после моего отъезда подался-таки на руководящий пост.

Через год я получил от него письмо, которое начиналось словами: «Пишу письмо, – слеза катится…» По лирическому запеву послания не составляло труда заключить: папа опять проживает в «белом домике». И снова – в который раз! – затерялся, запропал след родителя, оборвалась непрочная, всегда меня мучающая связь с нашей нескладной и неладной семьей.

Лет десять спустя после встречи с отцом и семьею в Сушкове попал я на север по творческой командировке. На сей раз бог меня миловал – в Игарке ничего не горело. Последний раз пожар в городе был неделю назад и уничтожил не что иное, как позарез мне нужное заведение – гостиницу. Местные газетчики поместили меня в пионерлагерь, располагавшийся на мысу Выделенном – самом сухом и высоком здесь месте, с которого отдувало комаров, и детишки спали в домиках без пологов.

Утром я пробудился по горну, дождался, когда смолкнет ребячий гвалт, и отправился умыться на Енисей. Вышел, гляжу – сидит на крашеной скамейке худенький быстроглазый парень с красивым живым лицом, в кепке-восьмиклинке и приветливо улыбается.

Я заозирался вокруг – никого нигде не было, и тогда

изобразил ответную улыбку. Паренек бросился мне на шею, сдавил ее костлявыми руками и, как бабушка из Сисима десять лет назад, библейски возвестил:

– Я брат твой!

Коля был и остался заморышем-подростком, хотя уже сходил в армию, выслужился до старшего сержанта. Не видавший добра и ласки от родителей, он искал ее у других людей. Где со слезами, где со смехом поведал он о том, как жили и росли они после моего приезда в Сушково.

Попав на руководящую должность, папа повел бурный образ жизни, да такой, что и не пересказать, будто перед всемирным потопом куролесил, кутил и последнего разума решился.

Однажды поехал он на дальние тундровые озера, на Пясину, где стояли рыболовецкие бригады, сплошь почти женские. Питаясь одной рыбой, они ждали денег и купонов на продукты, хлеб и муку. Но папа так люто загулял с ненцами по пути к озерам, что забыл обо всяком народе, да и о себе тоже. Олени вытащили из тундры нарты к станку Плахино. На нартах, завернутый в сокуй и медвежью полость, обнаружился папа, черный весь с перепоя, заросший диким волосом, с обмороженными ушами и носом. За нартой развевались разноцветные ленточки, деньги из мешка и карманов рыбного начальника сорились. Ребята давай забавляться ленточками, подбрасывать, рвать их, но прибежала мачеха, завыла, стала драть на себе волосы – ленточки те были продуктовыми талонами, деньги – зарплата рабочим-рыбакам.

Пропита половина. Чем покрывать? Папа пьяный-пьяный, но смикитил, на озера, в бригады ехать ему нельзя – разорвут голодные люди, под лед спустят и рыбам скормят. Вот и повернул оленей вспять. Но все равно хорохорился, изображая отчаянность, кричал сведенным стужей ртом: «Всем господам по сапогам!..», «Мореходов (начальник рыбозавода) друг мой верный! И мы с Мореходовым на у́рок положили…» Урками начальник рыбного участка называл бригадников, волохающих на тундряных озерах немысленно тяжелую работу – пешнями долбят двухметровый лед и, пока доберутся до воды, делают три уступа, майна скрывает человека с головой. И все же работают, не отступаются, добывают ценную рыбу – чира, пелядь, сига.

Видеть папину дурь, слушать его было на этот раз совсем неловко даже детям, все понимали, да и он тоже: несдобровать ему.

Судил начальника рыбного участка и бухгалтера выездной суд в клубе станка Плахино. Двадцать четыре года отвалили им на двоих за развеселую руководящую жизнь. После суда папу

отправили этапом на строительство моста через Енисей – на Крайнем Севере возводилась железная дорога.

Строй заключенных спускался по игарскому берегу к баржам. Колька стоял в сторонке, дожидаясь отца, чтобы передать ему пачку махорки. Мачеха с ребятами, приехав следом за отцом в Игарку, поселилась у знакомых и заболела, свалилась от потрясения, головой стала маяться, совсем уж расшатанно потряхивала ею, судорожно дергалась худой, птичьей шеей. Задергаешься с пятью-то ребятами, без угла, без хлеба, без хозяина, какой он ни на есть. Осунувшийся лицом Колька отыскивал взглядом отца – понимал парнишка: мыкаться им, ох, мыкаться. Из-за слез не вдруг различил Колька отца в колонне. Зато Бойе сразу увидел его, возликовал, залаял, ринулся в строй, бросился отцу на грудь, лижет в лицо, за фуфайку домой тянет. Замешкался, сбился строй, и сразу клацнул затвор. Отец, сделавшийся смирненьким и виноватым, загородил собою Бойе.

– Это ж собака. В людских делах она не разбирается… – И, приметив плачущего Кольку, уронил взгляд в землю: – Стрелять не собаку, меня бы…

Колька с трудом оттащил Бойе в сторону. Кобель не понимал, что происходит и зачем уводят хозяина, завыл на всю пристань да как рванется! Уронил Кольку, не пускает хозяина на баржу, препятствует ходу.

Молодой чернявый конвоир приостановился, отбросил собаку пинком в сторону и, не снимая автомата с шеи, мимоходом, в упор прошил ее короткой очередью.

Бойе словно переломился в спине, стремительное его тело забилось передней половиной, заскребло, зацарапало лапами дорогу. От пыли собака сделалась серой. Заключенные старались не наступать на умирающего пса, перешагивали через него, смешали пятерки. Конвой заволновался, бегом погнал по трапу подконвойных в трюм баржи. Плакал отец, труся по трапу в гуще людей. Плакал Колька, пластом свалившись на Бойе.

Бойе еще поднял голову из торфяной пыли, размешанной ногами, отыскивая глазами хозяина, но увидел человека с коротеньким ружьем, обвел приметливым, быстрым взглядом мыс острова с бедной заполярной растительностью, неба серенького клок и стену лесов за Енисеем, всегда заманчивых, наполненных тишиной и тайнами, которые Бойе так любил и умел разгадывать. Родившийся для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его убили, пес проскулил сипло и, по-человечьи скорбно вздохнув, умер, ровно бы жалея иль осуждая кого.

И впрягся Колька в лямку, которую никогда не желал надевать на себя папа. Зимой ли заполярной, в трескучие морозы,

в мокромозглую ли осень, в дурное ли вешнее половодье парнишка в тайге, на воде, с ружьем, с сетями – кормил, как мог, семью, помогал матери. Однажды столкнулся нос к носу с только что поднявшимся из берлоги медведем. Не успевши перезарядить одноствольное ружье, пальнул дробью в зверя. Пока тот, ослепленный, катался по земле, пока ревел, отбиваясь от собаки, парнишка стал за дерево, заложил патрон с пулей и встретил медведя, ринувшегося на него.

Было охотнику и кормильцу в ту пору четырнадцать лет, и долго тащить на себе такой возище у него не хватило сил. Был он еще слишком жидок и скоро надорвался. Пришлось мачехе отдавать младших ребятишек в детдом, и хватили они той самой жизни, коей стращали когда-то родители старшего парня, стало быть меня, и не всем братьям и сестрам та жизнь задалась…

Поведав мне все это, братан сорвался со скамейки пионерлагеря, схватил мой чемоданишко и поволок меня в город. Всю дорогу он, захлебываясь, жестикулируя руками – это у всех у нас от папы, говорил, говорил и вроде бы наговориться не мог. Папа неизвестно где, а жесты, привычки его, и не самые лучшие, навсегда отпечатались в нас.

Мачеха, выйдя снова замуж, выехала с новой семьей на магистраль. Коля задержался в Игарке, работал таксистом, только что женился, но ни о молодой жене, ни о работе не поминал, мысленно пребывал в лесу, на реке. На другой же день он утартал меня за старую Игарку, на озера, и мы там – порода-то одинаковая! – нахлестали уток, но достать их не могли. Стояло безветрие, озера заросшие, уток не подбивало к берегу. Братец, недолго думая, снял сапоги, штаны, закатал рубаху на впалом животе с наревленным в детстве пупом и побрел. Я ругался, грозил никуда больше с ним не ездить – на дне заполярных озер, под рыхлым торфом и тиной вечный лед, и ему ли, с его «могучим» телосложением…

– Ниче-о, ниче-о-о-о! – всхлипывая от холода, брел Колька напропалую, вглубь. – Привычно. – Да еще поскользнулся и в ответ на мою ругань выдал: – Худ в воду бредет, худ из воды вылезает, худ худу бает: ты худ, я худ, погоняй худ худа…

У-ух! – оступился братец, ахнул, ожгло его водой, и поскорее на берег, не закончив присказки, однако с десяток птиц сумел ухватить. До красноты ошпаренный студеной водой, обляпанный ряской, тиной и водорослями, он плясал возле костра, а наплясавшись и чуть обыгав, стал намекать: не попробовать ли еще? Вода сперва только холодная, потом ничего, терпимо.

Я заорал на него лютей прежнего, и братец с сожалением оставил свой замысел.

Мы ждали ветра, чтоб он подбил уток к берегу озера, но дождались шторма. Без припасов сидели двое суток по другую сторону Енисея, питаясь без соли испеченными в золе утками. Во всех замашках брата, в беззаботности его, в рассказах, сплошь веселых, в разговорах с прибаутками, да и в поступках тоже – дружил с одной девушкой больше года, женился на другой, знаком с которой был не то три, не то четыре вечера, не считая затяжного выезда на такси за город, – во всем этом было много от затерявшегося родителя. Лицом братец – вылитый папа, но больше всего было все же в нем мальчишки. Не прожитое, не отыгранное, не отбеганное детство бродило в парне и растянулось на всю жизнь… Видать, природой заказанное человеку должно так или иначе исполниться.

Коля заявил: точит его мечта махнуть зимой поохотничать в тундру. На машине работает без души, в городе ему скучно. Отговаривать его было бесполезно, от этого он только пуще воспламенялся, в братце бурлила отцовская кровь.

В пору золотой осени, когда на большом самолете я мчался по ясному небу в Москву учиться уму-разуму на литературных курсах, братец мой Николай Петрович вкупе с двумя напарниками бултыхался средь густых, уже набитых снегом, затяжелевших облаков в дребезжащем всеми железками гидросамолетике, держал курс на Таймыр – промышлять песца. Самолет лодочным брюхом плюхнулся на круглое безымянное озеро с пологими, почти голыми берегами, спугнув с него сбитых в стаи уток и гусей. Охотники соорудили плот из плавника, перевезли на нем провизию и вещи на берег. Летчики, настрелявшись всласть, собрали дичь с воды, пожали руки артельщикам, жаждущим охотничьего фарта, и улетели, чтобы прибыть сюда вновь в середине декабря тем же самолетиком, но уже переставленным на лыжи.

Старая подопревшая избушка, срубленная много лет назад на Дудыпте – одном из многочисленных притоков реки Пясины, нуждалась в большом ремонте. Напарники поручили Коле ставить сети, ловить рыбу на «накроху» и на уде себе и собакам, а сами принялись подрубать, латать и обихаживать зимовье.

Выметав две мережи: одну на озере, другую против избушки на Дудыпте, Коля принялся долбить яму, в которой надлежало запарить пойманную рыбу, дабы от нее распространялась вонь, и как можно ширше. Долго ли, коротко ли копал рыбак яму, но сети не давали ему покоя, хотелось узнать, что в них попалось. Он спустился к Дудыпте – сети не видать. Ладно привязать охвостку догадался за камень на берегу, иначе не нашел бы мережи. Попробовал потянуть сеть с плота – она не сдвинулась с места.

«Зацепилась!» – огорчился Коля и начал перебираться по тетиве, пытаясь отцепить мережу, но как только отплыл от берега, взглянул вглубь, чуть с плота не сверзился – мережу утопила рыба!

Втроем едва выволокли артельщики сеть из воды: нельмы, чиры, сиги, щуки зубатые – все рыба отборная. На полотне мережи обнаружились «окна» – человек пролезет! Решили мережу проверять проворней, иначе одни веревки от сети останутся.

На озере попалась жиром истекающая, толстоспинная пелядь и много сорной рыбешки. Постановили пелядь заготавливать на зиму, если время будет, и домой повялить этой вкусной рыбочки, остальной же весь улов на прикорм: хорошая накроха – половина дела в промысле песца ставными ловушками.

Две ямины забили накрохой старательные охотники, сами наелись до отвала жареной и копченой рыбки, жиру натопили бочонок, на глухую пору зимы, да и от снежной слепоты рыбий жир – верное средство. Погода стояла ветреная, холодная, все вокруг прозрачно до хруста, накроха в яме не закисала. Только эта забота беспокоила охотников. Порешили: коль не сопреет рыба в ямах, доводить ее до вони в тепле избушки, пусть будет душина – стерпят. От безделицы шатались по тундре, голубику, кое-где на кустах оставшуюся, облаивали, клюкву из моха выбирали. Верстах в десяти от зимовья, средь выветренных, болотом поглощенных скал островок лиственного леса, в нем краснела брызганка – брусника. Лесок с бабистыми комлями, изверченный, суковатый, изъеденный плесенью, брусника изморная, мелконькая, а все лакомство, все радость и от цинги спасение. Полную бочку ягод набрусили, водой ее отварной залили умельцы, чтоб не прокисла ягода без сахара, дров наплавили – всю зиму жечь не пережечь, бражонку на голубике завели, чтоб спирт не трогать до «настоящей» работы.

Удачно начался сезон, ничего не скажешь! Настроение у Коли и у молодого напарника Архипа боевое и даже шаловливое. Что ни прикажет старшой, парни со всех ног бросаются исполнять. Старшой в артели – человек бывалый, и войну и тюрьму прошел. В этих краях, у озера Пясино, долбал мерзлую землю, хаживал с рыбаками в устье Енисея, нерпу и белугу промышлял возле Сопочной карги. Пробовал на лихтере шкипером плавать – не поглянулось: инвалидная работа, привык к жизни опасной, напряженной, беспокойная душа движенья, просторов и фарта жаждет.

Полные добрых предчувствий, молодые охотники бегали по тундре, шарились в лесочке, постреливали по озерам, рыбку в Дудыпте добывали, дрова ширикали – и все им хаханьки да

прибаутки, и не замечали они – старшой день ото дня становился смурней и раздражительней. Парни над ним шутки шутили: как старшой на чурку сесть уцелится, они ее выкатят – бугор врастяжку, парни в хохот; а то ложку у старшого спрячут либо цигарку спичками начинят – старшой ее прикуривать, она ракетой изо рта! Вечерами, а они день ото дня становились темнее и длиннее, парни травили анекдоты и вслух мечтали: «Вот добудем песца, вылетим в Игарку и тебя, бугор, оженим на бабе, у которой семь пудов одна правая ляжка, тридцать два килограмма грудя! Смотри вперед смело, назад не обертывайся, не то горе, что позади!..»

«А то горе, что впереди! – подхватывал про себя старшой. – Верно, парни, верно. И как вы себя покажете?…»

В тундре мор лемминга, так по-научному зовется мышь-пеструшка – самый маленький и самый злой зверек на севере: всему живому в тундре пеструшка – корм, даже губошлеп олень, попадись она ему, сжует и не задумается, а песцу-прожоре это главное питание. Несло мертвые тушки леммингов по реке, оттого и набилась в Дудыпту рыба – жирует. Еще в тот, в первый день, когда ошалелый Колька рыдающим голосом позвал их к сети, екнуло и заскулило у старшого сердце: не будет лемминга – не будет песца. Ход его, миграция, по-научному говоря, много таит всяких загадок, да навечно ясно и понятно одно: держится песец, как и всякая живая тварь, там, где еда. Не только проходной, но и местный песец откочует – голодной смерти кому охота?

При первых же заморозках, отковавших железную корку на земле и звонкий лед на озерах, появился широкий путаный нарыск зверьков по тундре. Песец выедал остатки лемминга, землеройку-мышь; отсталую больную птицу и все, что было еще живо и пахло мясом. Блудливые песцы сделали набеги на ямы с накрохой. Колька с Архипом весело гонялись за песцами, палили из ружей – десяток зверьков угрохали, крепко при этом подпортив шкурки. «Вот дак да! – ликовали парни. – Песец-то, песец-то на стан лазом лезет!»

И залез бы. Разорил запасы, голодом уморил охотников, если б старшой лопоух был. Он еще по первой пороше, осмотрев густую песцовую топанину вокруг зимовья, велел поднять весь провиант на чердак, крышки бочек придавить камнями, ямы с накрохой завалить булыжинами и плавником. Не доверяя беззаботным напарникам, старшой сам зорко стерег муку и соль. Расставив по углам зимовья мышеловки, ударно промышлял мышей. И вот однажды мыши исчезли, смолк ночной воровской шорох, царапанье, бодрый писк, и тоща свалился старшой на

нары, вытянулся, закинув руки за голову, не курил, не спал, не разговаривал, много томительного времени проведя в раздумье, обыденно, даже чересчур обыденно возвестил:

– Песца, парни, однако, не будет.

Охотники были сражены. Холодов ждали, ветров, одиночеством тяготились уже, но развеивались надеждой: «Вот пойдет песец, некогда скучать будет!»

– Не будет охоты, – беспощадно рубил старшой, – ходовый песец минет эти бескормные места, местный, прикончив мышей и все, что дается зубу, тоже откатится с севера, пойдет колесить по земле в поисках корма.

– Что же теперь делать?

– Можно уйти, парни. Сделать нарту, погрузить продукты, запрячься в лямки и, пока неглубоки снега…

– Сколько идти?

– Я как тут прежде охотился? Иду, а за мной ружья несут, – усмехнулся бугор, – и карт не выдавали…

Парни хоть и бесшабашны, но хватили кой-чего в жизни, о тундре наслышаны: идти много-много немеренных километров, без палатки, без упряжных собак. Три дурака случайно, на ходу купленных, ловко ловили мышей, заполошно гоняли зайцев вокруг озера, рыскали по тундре, распугивая последнюю живность, жрали непроворотно рыбу, грызлись меж собой. Но и дураков двух уже не стало – одного порвала проходная стайка полярных волков, другой, водоплав и лихач, метнулся в полынью за уткой-подранком, до морозов державшейся на воде, и до того себя и утку загонял, что вконец обессилел, выползти наверх не мог, и его вместе с добычей в зубах затянуло под лед. Последнюю из трех собак старшой приказал беречь пуще глаза.

– Какое хоть время пройдем?

Раздражение, но пока еще, слава богу, не враждебность. Старшой свернул цигарку, неторопливо прикурил и, сунув сучок в поддувало печки, долго не отрывал взгляда от красно полыхающего огня.

– И этого не знаю, парни, – вздохнул старшой. – Если пурги не будет, если идти изо всех сил, если не закружимся, если не перегрыземся, если удача от нас не обернется, морскую, за полмесяца дойдем… – Говоря негромко, но внятно, старшой особо напирал на «если», будто кружком его обводил, заставляя вслушиваться, взвешивать, соображать.

– Если… если… – уловив смуту в словах старшого, заворчали парни, и тон у них такой, будто надул их бугор и во всем виновен перед ними. А виноват и есть! Насулил, губы мазнул отравой фарта, подзадорил, растревожил – и что?! Чувство неприязни,

желание свалить на кого-то пока еще не беду, всего лишь неудачу забрезжило и во взглядах, и в разговорах молодых охотников. Разъедающая ржавчина отчуждения коснулась парней, начала свою медленную разрушительную работу. Сами они пока не понимают, что это такое, пока еще «каприз» движет ими – конфетку вот посулили и не дали, а не чувство смертельной опасности. Смутная тревога беспокоила парней, но они подавляли ее в себе, раздражаясь от этого непредвиденного и бесполезного, как им казалось, усилия. Они готовились к работе, ими двигало приподнятое чувство ожидаемой удачи, охотничьего чуда, но в зимней, одноликой и немой тундре даже удачный промысел не излечивает от покинутости и тоски. Случалось, опытные промысловики переставали выходить к ловушкам. Оцинжав, заваливаясь на нары и, подавленные душевным гнетом, потеряв веру в то, что где-то в миру есть еще жизнь и люди, равнодушно и тупо мозгли в одиночестве, погружаясь в марь вязкого сна, дальше и дальше уплывая в беспредельную тишину, избавляющую от забот и тревог, а главное, от тоски, засасывающей человека болотной чарусой. Старшой и пошел оттого артельно на промысел – трое не двое, будет людней, будет бодрей, да и парни вроде не балованные, трудовые парни, крепкой кости, брыкливые, веселые – пойди песец, не отвернись от них удача, перемогли бы и тундру и зиму.

– А если останемся? – дошел до старшого настойчивый вопрос. Парни могли еще позволять себе досадовать, вроде бы он, старшой, мамка им, а мамка же на то и мамка, чтоб терпеть от детей своих наветы, обиды да отводить напасти от них и от дома.

– Если останемся? – переспросил старшой и замолк. Парни ему не мешали. Некуда торопиться. Дотянув цигарку, бугор не растоптал ее на полу, как напарники, заплевал чинарик и опустил в ржавую консервную банку, будто в копилку, – навечно въевшаяся привычка бродячего человека дорожить на зимовье не только каждой крохой хлеба, но и табачной. Поднялся старшой от печки, согнулся под потолком, щедровитое лицо его, будто вытопленное, обвисло складками – разом постарел бугор. В себя ушедшим взглядом старшой скользнул по оконцу – бело за ним, снега полого и бескрайно лежат, средь них избушка одиноким челном плывет, ни берега вокруг, ни пристанища – пустота кругом! Ступи с палубы этого челна, обвалишься и вечно будешь лететь, лететь… – Кто его, зверя, знает, ребята, тварь богова… Может, и пойдет еще? – Старшой говорил вяло, словно не о главном, словно главное на уме: он перестал лаяться, не употреблял даже слова «черт» – иная, чем прежде, мораль двигала старшим. – В тридцать девятом годе взял песец и через станки и

населенные пункты пошел! В Игарке на помойках ловили его, обормота, бабы-укладчицы на лесобирже меж штабелей гоняли, досками грохали… Загадка природы. – Сгорбился у печки бугор, кряхтел, курил. В избушке слой дыма, что окуневый студень – хоть ножом режь… – Ну а если песец не пойдет… Можем и постреляться…

– Как так?

– Очень просто, из ружей. – Старшой почесал голову: – Не растолковать мне. Маетой такая штукенция рождается… Решать надо: уходить, так не мешкая, останемся – разговор отдельный будет. На размышления вечер. Разбежимся в разные стороны, пораскинем умом. Крепко мозгуйте, парни, напрягите башки, коли есть чего в них напрягать…

Весь вечер бродили парни по тундре, ночи прихватили. Погодка стояла самый раз, безветренная, морозец покалывал, прочищал ноздри, глотку, легчил душу и голову. Вольно было застоявшемуся телу двигаться, катиться, лететь на лыжах, видно так далеко, что земля и на самом деле шаром вдали закруглялась, на горбине шара ровно бы сторожевые вышки мерцали заледенелыми оконцами – то сверкал лед на приморских скалах. И если долго на них смотреть – скалы начинали двигаться, рассыпаться. Над оледенелыми камнями морского побережья ненадолго зависло солнце, ровно бы лишним сделавшееся на небе. Висело, висело и исчезло. Не закатилось, не опало за горизонт, вот именно исчезло – его вобрал в себя без остатка, всосал, как старую, измызганную пустышку, узенький красноватый зев, приоткрывшийся над скалами, и тут же все: и онемелая аленькая щель, и скалы, и белые снега, над которыми какое-то время еще трепетал, догорал красный клок неба, заволокло сгустившимся мороком.

Тундра погрузилась в глубокую тишину. Тени, пока еще недвижные и тоже бесшумные, опустились на нее сверху, придавили свет, сжали пространство. «Солнце закатилось до весны», – догадались зимовщики, и у каждого из них сердце сжалось в груди, холодом ни на что не похожей разлуки опахнуло нутро, и такое осязаемое чувство беспросветности охватило души охотников, что они, бродившие нарозь друг от друга, не сговариваясь, порешили: «Уходим!»

Но в тундре что-то шевельнулось, стронулись снега, закачалось пространство вокруг, то там, то тут начало чиркать искрами, и небо, только что мутное, грузное, пустое, вдруг растворило врата прозрачным и переменчивым светом. Жуть и восторг охватывали душу. Надо бы бежать, но не было над собой власти. Середь ночной сверкающей тундры, опершись на таяк,

стоял Коля, стоял Архип, стоял подле избушки старшой, и все они улыбались растерянно и приветно, не понимая, что с ними, отчего такое облегчение?

К зимовью охотники вернулись разом, в позднее для этих мест время. Навстречу вывалился кобель Шабурко – звался он по фамилии хозяина в отместку за то, что слупил с охотников неслыханную цену, пользуясь их безвыходным положением.

Дыша холодным паром, парни ввалились в избушку и в один голос заявили:

– Остаемся!

– Остаться не напасть, да кабы, оставшись, не пропасть.

– Ни хрена-а! Не мы первые, не мы последние. Че нам без добычи уходить? Манатки бросать? Неустойку платить?…

– Ну, ну! Колефтиф настаивает. Колефтиф – сила!

Разогрев еду, старшой достал из запасов поллитру спирта, молча налил полную кружку, вынул нож из ножен, полоснул по руке, кровью спирт разбавил. «Начинается!.. – Лица парней вытянулись, под кожей холод захрустел. – Накатило на старшого. Все они, эти „бывшие“, люди потрясенные, и чего им на ум придет – угадай попробуй!» Цап Кольку за руку, чирк ножом по пальцу, кровь отцеживает Колькину в кружку старшой.

Архип побелел, к двери попятился, чтобы рвануть из избушки, да не успел, старшой его перехватил, тоже ему палец порезал.

Побурел спирт от крови, отвратным на вид сделался. Затосковали парни, ждут, чего дальше будет? Старшой примочил ранки спиртом, велел забинтовать пальцы, зажег свечу и, капая воском во все четыре угла зимовья, забормотал жуткую запуку: «В добрый час молвить, в худой помолчать. На густой лес, на большу воду, на свою и товаришшэв алу горячу кровь, на свой чистый подложечный пот, на живу душу слово намолвлю: пустоглаза тоска, змея костна – цинга, люто голодное, люто холодное – миньте нас, киньте нас, уйдите на посолонь, закружитесь по ветру, растопитесь от воску ярого, ослепните от огня бегучего, оглохните от слова клятвенного, околейте от креста святого! Кто бел-горюч камень – Алатырь изгложет, тот мой заговор переможет! Ни днем, ни ночью, ни по утренней заре, ни по вечерней, ни в обыден, ни мужик, ни колдун с колдуньей, ни баба, ни пожилой, ни старый, ни сама тундряная ведьма с тем словом моим, заклятным, верным не совладают, не перемогнут его. Аминь!..»

Прилепил старшой свечу к столу, умолк в изнеможении. Избушка осветилась, бодрее в ней сделалось, не то что от лучины и печки. Керосин и свечи берегли, освещались сподручными

средствами, жгли чаще тряпицу в рыбьем жире. Парни на нары забрались, ноги поджали, во все глаза глядят на старшого. А он разлил спирт по кружкам, приказал двигаться к столу, поднять кружки, держать их на весу и глядеть в глаза друг дружке, пока он, старшой, будет творить клятву, и все слова повторять следом.

Парни сперва с пугливой ухмылкой, как филины, булькали, рыгали какую-то присказку насчет моря-океана, острова Буяна, зверя рыскучего, снега сыпучего, но поворотилось и на серьез:

– Будет ли, не будет ли удача – жить союзно. Поглянется, не поглянется какое слово старшого – не прекословить и зла никакого друг на дружку не копить. Все выкладай, худое ли, хорошее. День кончился, ночь пошла. Снегу на зимовье наметет – могила. Работать, двигаться и разговаривать, разговаривать. Время гиблое, не вступ ногу жить, гибель, стало быть. Долбить корыта в пастях и кулемах, если зверек попадет, не плющило б его, не погрызли б другие зверьки и мыши. Ловушек ставить больше, навального песца не будет, следует его стараньем брать, накрохи не жалеть, пусть воняет, живность приваживает. Свету мало – пятнышко за сутки, значит, бегать быстро, но беречь себя, не запариваться – один простынет, захворает – хана всем. Договор наш кровью скреплен, такой договор смертельный. Добыть бы жильной крови, выпить гольную, да, вас жалеючи, не стал тела молодые уродовать… – Старшой покидал щепоткой пальцы над кружкой, хукнул, отбрасывая из себя воздух, выплеснул наговорное зелье в рот, утерся рукой, зажевал питье подвяленным хвостом пелядки. Молодые его связчики с отвращением выпили розовый от крови спирт, передернулись, захрустели рыбой.

– Да, вот еще что, парни, – подождав, когда они отдышатся и закусят, продолжал старшой, – соленого много не лопать, снег не хапать, с хлебом аккуратней – стряпаете, мучкой сорите. Шабурку на норму! Распустил пузо, что генерал! И помните всякий час, всякую минуту: в тундре заблудиться страшнее, чем в нехоженой тайге.

Спирт подразобрал парней, на душе отмякло, по телу благость разлилась.

– Да ладно, – остановили они старшого, – хватит права-то качать!

И потекли часы, складывающиеся в длинные сутки, сутки в еще более долгие недели. Песец не шел. Попалось в пасти две лисы, пустобрюхих, костлявых, в худошерстной шкуре; призаблудился как-то горностай – занесло его в лесок, заваленный снегом до колючих вершин. По берегам Дудыпты и возле озера хорошо ловилась куропатка в силки, пока не задавило сугробами стланики. Но начались метели, и кончилась всякая

работа. Забавлялись полярными совами. Воткнут в тундре шест или палку, на верхушку капкан приладят – сова видит в ночи и в пургу, не облетит никакую мету – ей тоже хочется на чем-нибудь твердом посидеть, покрасоваться. Ели сов. Не куропатка, конечно, мясо горчит, горелой овчиной или мышами пахнет, зато пуху, пуху от совы, пенистого, легкого – вороха! Вот бы радости бабам, да где они, бабы-то?

Залегла зима по Пясине, по Дудыпте, по всему Таймыру, сровняла снегом впадины речек с берегами, ухни – напурхаешься, пока вылезешь. Снег еще не перемерз, рыхлый, еще лицо до крови не сечет, слава богу. Маячившие у приморья скалы растворила, вобрала в себя все та же безгласная ночь. Лесок, островком ершившийся средь тундры, захоронило снегом. Переливались, искрили до рези в глазах снега да небо, чем дальше в зиму, тем живее светилось и двигалось. Но уже не пугало и не завораживало северное сияние охотников, да и достигало оно земли все реже и слабей – подступала пора диких, вольных ветров и обвальных метелей. В распогодье охотники спешили при свете позарей пробежаться по ловушкам, со слабо теплящейся надеждой на удачу. Вот и ухнула полярная метель, загнала промысловиков в зимовье, запечатала их в избушке, залепила окно, закупорила дверь, загнала в снежный забой. Лишь труба стойко торчала из снега, соря по ветру искрами, клубя низкий живой дымок.

Время двигалось еле-еле, разговаривать охотникам не о чем – все переговорили; делать по дому нечего – все переделали, а ветер все дичей, яростней. Подняло снег над тундрой, воедино слились земля и небо, вместе кружась, летели они в какие-то пространствия, где никакой тверди нет, и охотничья избушка, стиснутая снегами, выплевывая трубою дым, тоже летела, вертелась средь воя, свиста и лешачьего хохота. В замороженном окне едва приметным бликом шевелился отсвет печного огня, тыкался жучком туда-сюда, отыскивая щелку в толстых натеках льда, и эта капелька света, эта звездочка, преткнувшаяся в кромешную тьму, и напоминала о стойком существовании мироздания.

Время суток – день, ночь определялись по часам да еще по Шабурке. Заспавшийся в избушке кобелишка раз в сутки просился на волю и к такой же норме приучал своих хозяев, которые безвольно погружались в молчаливость, расслаблялись от безделья, ленились отгребать снег от избушки, подметать пол и даже варить еду. Старшой за шкирку стаскивал покрученников с нар, заставлял заниматься физзарядкой, придумывал заделье или повествовал о своей жизни, и такая она у него оказалась содержательная, столькими приключениями наполненная, что

хватило рассказов надолго. Парни слушали и дивились: сколь может повидать, пережить, изведать один человек, и советовали старшому, пока делать нечего, «составить роман» на бумаге. Старшой соглашался, да бумаги-то в избушке мало, всего несколько тетрадок, потом уж, на старости лет, как-нибудь засядет составлять роман, а пока слушай, парни, дальше.

Лютая зима, ветер, пронзающий не только тело, но и душу, приучают всякие необходимые отправления делать по-птичьи, почти на лету. Архип не мог приноровиться к такому вихревому режиму, трудно все в него входило, еще трудней выходило. Он до того застывал на ветру, что заскакивал в зимовье со штанами в беремя, не в силах уже застегнуть их. Однажды и вовсе подзадержался Архип на воле. Старшой выслал Колю за напарником. Набрасывая на плечи телогрейку, Коля стал полниться нежданным гневом: «Разорвало б обжору! Нашел время рассиживаться! Садану дрыном по хребту – будет знать!»

В промысловую бригаду затащил Архипа Коля. Работали они вместе в таксопарке: один шофером, другой слесарем. Архип – выходец из кержаков, хотя медлителен умом и на руку не спор, но работящ, бережлив, по возможности на свое не выпьет. Надежным, крепким, главное, послушным артельщиком казался Архип, и неожиданно первым помутнел, чаще и чаще огрызался, поссориться норовил. Поначалу справлялись с собой Коля и бугор, старались не обращать внимания на брюзгу с таким редким, древним именем. Но вот стало чем-то их задевать все в Архипе, даже имя его, которым прежде потешались, сделалось им неприятно.

Архипа возле зимовья не оказалось. Коля взухал раз, другой. Голос его словно бы отламывало ото рта и тут же закручивало ветром, глушило снегом. Старшой, услышав крик, зарычал, подпрыгнул, шапку надернул, Шабурку выбросил из-под нар в снеговую круговерть, сам метнулся следом, зверски матерясь.

Шабурка мигом отыскал Архипа. Стоит охотничек за избушкой, придерживает штаны, набитые снегом, пробует орать, но хайло снегом запечатывает. Закружился в пурге младой охотник, добро, что не метался, не бегал, потеряв избушку, иначе пропал бы.

Велико ли время прошло, да успел ознобить кое-что Архип, рот его скипелся, даже зубы не стучали, только мычанье слышалось, и слезы текли из глаз.

Загнанно, панически дыша, заволокли напарники Архипа в зимовье, свалили на нары, принялись оттирать. Отогрелся, отошел Архип. Старшой ему «Отче наш» в назидание и приказ всей артели: пока ветродурь не кончится, ходить в лохань.

Простая такая операция получалась лишь у старшого. Парни мучились, стыдясь друг дружки. Тот, кто бывал в больницах и госпиталях «лежачим», ведает, что насильственная эта штука хуже всякой кары.

Первым снова не выдержал и осердился Архип.

– Привык к параше! И сиди на ней! – заорал он и засобирался на улицу, забыв, как замерзал недавно, волком выл, когда его оттирали. Коля солидарно с Архипом тоже шапчонку на голову, тоже на волю. Старшой прыгнул к двери, закрутил в кулаки телогрейки на парнях.

– Обсоски! – рычал он, вызверившись. – Из снега выкапывать вас, красивеньких, беленьких?! – И, отшвырнув обоих к нарам, пнул еще, не больно пнул, но остервенело, да и бранил их много, совсем как-то обидно, равно мальчишек, и до того увлекся этим развлечением, что вывел из себя Архипа. Набычился, всхрапнул кержак и молча пошел на старшого.

Будто смертельные враги сошлись артельщики средь избушки, схватились, испластали вмиг друг на дружке рубахи, рычали по-собачьи, хватались за горло, царапались, хрястали кулаками во что попало. Брызнула, закипела на печке кровь, запахло горелым мясом.

– Мужики-и-и! – закричал Коля, втискиваясь меж связчиками. Но где ему, заморышу, совладать с двумя здоровенными лбами, которые так ломали друг дружку, что трещали кости. До пояса голые, в кровящих царапинах, молча тилищутся – ни матюка привычного, ни ора, лишь храп, рычанье – звери и звери.

Плошка упала, погасла. Темнынь в избушке, ветер лютует за дверью, и лютуют во тьме два артельщика.

– Мужики-и-и-и! – закричал громче прежнего и заплакал Коля. – Мужики! Опомнитесь! Мужики-и-и!.. Лю-у-ди! Караул-ул!..

Сверкнул и вывалился из печки огонь. Избушка наполнилась дымом – своротили печку обормоты и враз отпрянули от огня, трезвея. Коля заливал головешки из чайника натаянным снегом.

– Балды! Суки! Заразы! – все кричал он и плакал. – Сгорим в тундре, что тогда?!

Старшой забрался на нары, забился в угол, натянул на себя одеяло. Архип кашлял от дыма до сблева, сипел, тужась что-то сказать, непримиримо тыкая пальцем туда, где таился старшой. Коля водружал железную печку на место, в ящик с землею.

– Всер-р-равно, всер-р-равно… Он меня… Я его… – разобрал он.

– Че буровишь-то? Совсем уже того?! – потыкал Коля себя пальцем в висок и неожиданно хватанул Архипа так, что тот оказался за мерзло крякнувшей дверью. – Остынь, недоумок! –

Собрав в печку чадящие головешки, выпустив пар и дым из зимовья, Коля откашлялся, высморкался и, утирая подолом рубахи грязное от сажи и слез лицо, с горестным ожесточением обратился к старшому: – А ты-то, ты-то! Сурьезный человек! За коллектив, пусть и махонький, ответственный…

Старшой шевельнулся на нарах, прошуршал пересохшей осокой, отыскивая одежонку, спустился на пол, знаком показал на чайник – полить. Умыв разбитое лицо, начал утираться тряпицей.

– Не окажись воды, – шевельнул Коля чайником, – погорели б и, как псы, подохли средь тундры.

– Худо, Колька, худо… Н-на, худо, Колька, худо. Началось! Позови-ка эту жертву неудачного аборта, простудится, остолоп!..

Сошлись в одной избушке артельщики, деваться некуда. Не разговаривают, от папироски друг у дружки не прикуривают, принципиальные. Рожи у обоих запухли темными синяками; наливаются, экая красотища! Натешились, измордовали друг дружку, разрядили злобу. Что-то дальше будет?…

Сварив еду, Коля достал с чердака избушки из неприкосновенного запаса бутылку спирта, развел, в кружки налил и, как сердитая, но все понимающая, добросердечная хозяйка, велел чокнуться и выпить мировую.

Чокнулись, выпили. Коля хоть и натянуто, но уже с некоторым облегчением и искательностью рассмеялся:

– Э-эх вы-ы!

Старшой стиснул рукой лицо, будто стирая с него что-то, провел сверху вниз.

– Бывает! – сказал покаянно. – Да больше не надо.

Архип тоже что-то буркнул и отвернулся. Выпили еще по малой, пытались заговорить. Однако разговор увязал, рвался. Нарушилась душевная связь людей, их не объединяло главное в жизни – работа. Они надоели, обрыдли друг другу, и недовольство, злость копились помимо их воли.

Но бывает конец пурге и в тундре. Проснулись утром – тишина, да такая оглушающая после, казалось, уж вечного воя, ветра, бряканья трубы, гула снежных туч, что и тревожно от нее. Старшой вышел на волю, заорал, шапку подбросил, пнул ее, поймал Шабурку, катнулся в обнимку с ним по снегу.

Охотники разбрелись в разные стороны откапывать ловушки. Снега сделались глубоки, пурга была долгая. Песцы в поисках корма начнут теперь делать кругаля по всей тундре, глядишь, и этих мест не минуют. Врали, обманывали сами себя покрученники – надо было верить во что-то, и они убеждали себя: будет, будет удача, пусть и запоздалая.

Задыхаясь жидким воздухом – выдуло из него ветром

кислород, стужей выбило сырость из снега, в коловерти пурги выварило из него клейковину, охотники бродили по тундре, отыскивали захороненные в забоях ловушки и, к удивлению своему, немало их откопали. Совы, чуя корм под снегом, разрывали наметы, наводили на места. Мало только осталось возле Дудыпты сов, переловили их охотники капканами, свели беззаботно, теперь хватились, да уж делу не помочь.

Коля придумал себе занятие: волочь на истоплю жаркий витой кряжик. Лесок был по маковку завален снегом, приходилось много трудиться, прежде чем откопаешь лыжиной суховерхое деревце со стеклянно хрупкими от мороза сучками, с прикипелой к плоти дерева болонью и корой, под которой остановился сок. Коля тюкал топором деревце. К лезвию топора белым жиром липла смола лиственницы, тонкими паутинками пронизывающая годовые, вплотную притиснутые кольца, не давала загаснуть дыханию, с лета поднявшемуся по неглубоким, но жилистым корням. Мал лесок, всего островок крохотный, и веток живых на каждом деревце с пяток, не больше, а раскопаешь снег от земли, хвоя лежит, пусть тоненько, пусть на плесень похоже, а все напоминание о лете, о тайге. Лес жил, боролся за себя, шел вперед на север, к студеному океану. Рубить его вот как жалко. Коля выбирал деревца сломленные, полузасохшие, отбитые от табунка. Свалив лиственку, садился на вздутый комелек, отдыхивался, думая о сложности всякой жизни, о том, какая идет везде тяжкая борьба за существование.

Сделав из толстой веревки петлю, Коля надевал ее через плечо и, ширкая камусными лыжами, пер к избушке сутунок по уже хорошо накатанной лыжне, радуясь тому, что пурги нет и, может, она не скоро будет, что поработал он хорошо, что наколупают они с лиственницы серы, вытопят ее в склянке, жевать станут – все для зубов работа. Пожалуй, следует выдолбить прорубь на Дудыпте, наносить воды, натопить зимовье и побаниться – не хватало завшиветь – последнее это дело.

По полному безмолвию, по усиливающемуся морозу и скрипу снега под лыжами, по ярким, из края в край, сполохам можно было предположить – межпогодье еще продержится и, стало быть, передышка им будет. Ночь морозна, светла до того, что все впереди видно. Да что видеть-то? Снег и снег. Даже вилючую ленту речки Дудыпты и озеро застругало пургою вровень с тундрой, лишь местами, сдавленный, серел снежок с подветренной, полуденной стороны, означая крутой поворот речки или подмытый берег. Вокруг озера, как бы на всплеске, остановились гребни снега – замело кусты стлаников. Оборони бог задуматься, заскочить лыжами на вороха эти, хуже того, на

изгиб речки – обрушишься, и потечет снег, что песок, заживо хоронить станет. Бухайся, раскалывайся тогда, тори траншею, коль силы есть.

В белой тишине тундры, тенистой, зеркально-шевелящейся от сияния, охватывает блажь, являются видения: судно с мачтами и драными парусами, узкомордый белый медведь с безгласно раззявленной пастью, нарта с упряжкой оленей, на нарте знакомый еще по Плахино эвенк Ульчин. Сидит бойе с хореем, куржак обметал его плоскую мордаху, черненькие глазки радушно светятся из белого, однако хореем не шевелит, губами не чмокает, «мод-модо» не кричит, олени не фыркают, не взбивают снег. Плывут олени, да лыбится глазками бойе. «Сгинь, Ульчин, сгинь! – боязливо открещивался Коля. – Ты умер, еще когда мы всей семьей в Плахино зимогорили. Ты с папкой вино жрал. Думаешь, забыл?…»

Однажды увидел Коля собаку – остановилась в отдалении, белая с серым крапом на ногах, ждет, приветно хвостом пошевеливает. Знакомая собака, очень. Дрогнуло сердце: «Боё! Боё! Боё!» – Коля сбросил лямку, подхватился, побежал – нет собаки, бугорок вместо собаки. Страсти-то! Коля вытер со лба пот, хотел перекреститься – не знает, с какого места начинать.

Больше всего он опасался повстречать шаманку. Бродит шаманка по тундре давно, в белой парке из выпоротков, в белой заячьей шапочке, в белых мохнатых рукавичках. За нею белый олень с серебряными рогами следует по пятам, головой покачивает, шаркунцами позвякивает. Шаманка жениха ищет, плачет ночами, воет, зовет жениха и никак не дозовется, потому и чарует любого встречного мужика. Чтобы жених не дознался о грехах ее сладострастных, до смерти замучив мужика ласками, шаманка зарывает его в снег. К человеческому жилью близко шаманка не подходит, боится тепла. Сердце ее тундрой, мерзлой землей рождено, оледенелое сердце может растаять.

Сказочку такую парням поведал старшой и поступил, как потом оказалось, опрометчиво. Парни скабрезничали, постанывали, валяясь на нарах: «Э-э, сюда бы счас шаманочку-то!..»

– Не блажите-ка, не блажите! – испуганно таращил глаза старшой и наставлял: – Чурайтесь, некрещеные морды! Навязчивы такие штукенции, еще накличете…

Шаманка явилась, когда Коля пер из леска сутунок и видел, как пыльно разбухающим облаком теснит, отжимает с неба мерцающий свет позарей. Впереди нет-нет да и вытеребит белое перышко, полетит оно, кружась и перевертываясь. Следом пушок сорится, мелконький пушок, горстка его, но сердцу тревожно –

нарождается пурга. Легкое, пробное пока еще движение началось по тундре, небо пучится, набухает темной силой.

Коля налег на лямку, напрягся и, частыми, мелкими глотками схлебывая воздух, проворней заширкал лыжами, низко наклонившись головой, подавшись вперед всем телом – так вроде бы легче и скорее идется. Но вот раз-другой что-то продрожало в глазах, снег начал красно плыть, густо искриться, в ушах пронзительно зазвенело – воздух, разреженный воздух северных широт угнетал организм – нужна передышка. Коля остановился. Раскатившееся бревнышко толкнуло в запятки лыж, снег гас, звон из ушей отваливал, дыхание выравнивалось.

И в это время из переменчивого, нервно дрожащего света, из волн позарей, катающихся по одной уже половине неба, выплыла ОНА и, не касаясь расшитыми бакарями снега, вовсе, даже не перебирая ногами, стала приближаться, бессловесная, распрекрасная. Вытянутые раскосые глаза ее светились призывно и печально, лик бледен – дитя белой тундры. Может, болело что внутри, сердце, может, худое, порок, может, в нем какой? Поймав себя на том, что он думает о шаманке как живом, на самом деле существующем человеке, Коля громко кашлянул, нарочито грязно выругался, сплюнул под ноги пренебрежительно и поспешил к зимовью, которое было уже близко, стараясь не поднимать головы и не оглядываться, хотя коробило спину, казалось, вот-вот вцепится шаманка пальцами в воротник, что тогда делать? Голова сама собой утягивалась в одежду, ноги дрожали в коленях, рвался дых. Только возле дверей избушки охотник оглянулся и заметил призрачно удаляющуюся шаманку. Поймав его взгляд, она приостановилась и, перед тем как раствориться в снегах, вознестись на волнах позарей ввысь, слабо ему и укоризненно улыбнулась. Голубой свет, провязывающий сгустившуюся ночь, сочился из ее груди, и видно сделалось ее сердце, похожее на ушастого зайчонка, сжавшегося в комочек, чуть вздрагивающего под набегающими порывами ветра.

Сбросив лыжи и лямку, Коля поскорее заскочил в избушку, вытер лоб, в изнеможении упал на чурбак возле печки.

«Кто за тобой гнался-то?» – взглядом спрашивал старшой, и, чтобы не пускаться в объяснения, Коля поскорее начал переодеваться. Одежда мокра, пар валил из-под рубахи. «Не надо бы так потеть», – вяло подумалось ему.

Коля ничего не сказал связникам о шаманке, полагая, пока пережидают пургу, отсиживаются в избушке, наваждение уйдет, но даже самому себе боялся признаться в том, что он хотел ее видеть, ревниво пас в себе видение, спал неспокойно, сделался потаенным и, едва кончилась пурга, засобирался в тундру. И

вдруг заметил: его связчик, тихоходный и тугодумный Архип, мечется по избушке, чего-то ищет, куда-то торопится, бросая шалые взгляды в звенышко обметанного морозом оконца. «А что, если ему она тоже явилась?! – ожгла ревнивая подозрительность Колю. – Убью! Застрелю! Не дам!..»

– Вы чего, молодцы? Чего? Вроде как не в себе? – забеспокоился старшой. – Уж не шаманка ли блазнится? Наплел я вам. Вот дурак дак дурак! Креститесь, беситесь, орите, из ружья палите, топором рубите, но не поддавайтесь. Болезнь это, ребята, жуткая болезнь…

Обман. Мираж. Болезнь. Ну и пусть! В сравнении с дивным видением, сулящим что-то тайное, небывалое, жизнь, которую они влачили, так опостылела, что не было никакой охоты бороться за нее. Молодцы желали перемен, какого-то действия, яростная плоть при одной только мысли о шаманке возжигалась в парнях, толкала на безрассудство.

И, отчетливо сознавая, что делать этого нельзя, однажды Коля сбросил с себя лямку, вытащил ноги из круглых креплений лыж, почему-то поставил их торчмя и успел еще отметить: лыжи похожи сделались на страшных змей кобр со злобно раздутыми шеями, которых он видел в кино, когда служил в армии, – им почти каждый день показывали кино. Э-эх, армия, друзья, люди, города, дома, огни, машины! Где они? Были ль они?

Опираясь на таяк, он двигался к шаманке, а она пятилась от него, увертывалась. Он ее хватал, горячо нашептывал ей русские и эвенкийские нежные слова. Она понимала их, похихикивала, играла глазками. Совсем он ее заморочил, настиг, схватил за косу, но мягко отделилась коса от головы шаманки, и так с вытянутой, крепко сжатой рукой Коля обвалился под яр Дудыпты и лежал какое-то время ничком в снегу, и плыл куда-то вместе с осыпью, не веря обману. Снег все накатывался, накатывался сверху, перемерзлый, сыпучий. Он заполнял, сравнивал всякий бугорок, всякую выбоину. Забарахтался, забился человек, потерявший желание думать и бороться, когда наконец увидел над собой, на урезе Дудыпты собаку, все ту же, белую, с серым крапом на лапах и голове, родную, верную собаку.

– Боё! Боё! Боё! – Человек скребся, плыл по снегу к собаке. Поскуливая, руля хвостом, собака ползла встречь ему, и вместе с нею полз, двигался снег, из которого выметнулась вдруг и ткнулась острием в лицо лыжина. Человек ее схватил, подсунул под себя и, как в детстве на дощечке, погребся наперекор течению сквозь этот бесконечно двигающийся снег. – Боё! Боё! Боё! – Но собаки нигде уже не было, зато вот она, вторая лыжа. Откопав ее, человек прилег, свернулся бочком на двух лыжах, мокрый,

насквозь пронизаемый стужей и ветром, он грел дыханием руки. В разрывах ветра ему почудились крики, лай, тупые стуки. «Стреляют! Ружье!» Не в силах снять ружье со спины, он нащупал сзади гладкую ложу, отвел не пальцами, а всей ладонью курок, засунул в скобу ничего уже не чувствующий палец, отодвинул ствол от затылка в сторону и надавил на железо. У левого уха метнулось пламя, ахнул гром, голову откинуло волной выстрела, ухо словно бы забило пыжом, ноги стрелка подогнулись, и он упал поперек лыж…

Болезнь напарника напугала и объединила старшого с Архипом. Последнее время они уже не просто грызлись, а хватались за ружья и топоры. Коля понимал: наступит срок, и ему будет не разнять связчиков, не справиться с двумя осатанелыми мужиками, кто-то кого-то из них порешит или он их из ружья обоих положит – такая думка ему тоже голову посверливала – не уговаривать, не разнимать, не нянькаться с дубарями, а всадить по пуле каждому – и пропадай все, гибель так гибель, суд так суд – не они первые, не они последние на зимовках стреляются…

Лечили Колю артельщики напористо: жарили докрасна печку, обмазывали больного горчицей, вливали ему в жаркий рот спирта, капали в питье растопленной серы, бросали в кружку горячую монету – серебрушку. Коля метался на нарах, кричал: «Ё!.. Ё!.. Ё!..»

– Чего это он?

– Не знаю, – Архип шарил в затылке, припоминая, – собаку, может? Собака у него была, Бойе…

– Собаку? Собаку – хорошо! Собака – друг.

Гнали охотники пот аспирином из больного, компрессами, бутылками с горячей водой и достигли своего – температуру сбили, простуду напрочь выгнали, но при этом надсадили не очень-то крепкое сердце напарника. Старшой знал все: как выгонять простуду, как делать из хлебного мякиша смесь и по самодельным трафаретам изготавливать карты, из обломка железа ножик, из куска жести котелок, из кости зажигалку. Он мог сварить суп из топора, сготовить гуляш из подметок, шить без ниток, стирать без мыла, коптить рыбу, чтоб дыма не видно, сушить мясо, чтоб запаху не слышно, спасаться от цинги хвоей, строить землянку без топора и выделать для нее олений пузырь руками, мертвую собаку превратить в живое чучело. Не знал и не ведал старшой, как и чем лечить сердце – в его жизни сердцем заниматься было недосуг, хоть бы грешное тело сохранить. Где-то слышал или умом своим гибким и проницательным старшой допер: при больном сердце надо меньше шевелиться, не бултыхать нутром, и, глядишь, оно, ретивое, успокоится, наберет

силу, выровняет ход. Архипу, испуганному и послушному, старшой приказал носить дрова с накрошных ям, складывать их кострами неподалеку от зимовья, не палить в лампе керосин, обходиться лучиной, рыбьим жиром и только в крайнем случае жечь свечи.

Артельщики ждали самолет. Фартовой охоты больше никто не ждал. Как-то принес Архип песца, тощего, маленького, с сырой, ровно бы присоленной, шкуркой. Кости в шкурке словно истолчены. Голова зверька расклевана совами, пусто темнели глазницы, в щелях голенького черепа бурела сохлая кровь – в тундре свирепствовал голод, начался падеж.

«Смерть! Вот она какая!» Горло больного задергалось, напряглись жилы на шее, распахнулся сморщенный рот, оголив сочащиеся красным, цинготные десны.

– Боюся-а-а!..

Издали донеслось:

– Ничего, Миколаха, ничего… Держись! Мы с тобою! Мы не оставим…

В декабре, как было оговорено, самолет не пришел. Надеялись, верили – к Новому-то году обязательно будет самолет. Маковку зимы посыпало дурным снегом, справила новогодье свирепая пурга, пошатала избушку, побрякала трубой, помучила людей и природу всласть, но как только унялась пурга, зачуфыркал в небе самолетик. Сперва он «промазал» избушку, устремился резво к морю, состывшемуся с берегом и тундрой, где и разбиться мог о скалы, заметенные снегом, но Архип такие костры запалил, наплескав керосину на дрова, а старшой так бабахал из ружей, что самолет дрогнул и завернул на второй круг. Увидев сигнал, снизился, покачал крылами и, чтобы не ковырнуться кверху брюхом, опробовал лыжами снег, скользнув над самой землею. Архип по переменке со старшим все время утрамбовывали и прикатывали снег самодельными катками, изготовленными из сутунков, натасканных Колей, как будто ведал малый, что они сгодятся.

Благополучно приземлившись, самолетик покрутил пропеллером, уркнул, чихнул и замер. Зная, как их везде ждут, пилоты, улыбаясь, вышли наружу и узрели картину: на снегу сидят два здоровенных ознобленных мужика и плачут. Через порог зимовья перевалился изможденный парнишка в нижней, просторной для него рубахе и ровно в тайне кого-то кличет:

– Ё!.. Ё!.. Ё!..

Остаток зимы Коля пролежал в краевой больнице, получил группу инвалидности, какую дают лишь кандидатам в покойники – первую, но не сдался смерти, вылечился тайгой, рекой, свежей

рыбой, дичиной, и скоро перевели его на третью группу. Окрепнув здоровьем, он выехал из Игарки к родичам жены, в старинный приенисейский поселок Чуш, поступил работать в рыбкооп шофером.

Однажды мы всей семьей собрались и поехали в гости к братану. Как и в прежние годы, был он бегуч, суетлив, разговорчив, на здоровье не жаловался, всем норовил угодить, обрадовать радушием. Зная, какой я заядлый рыбак, посулился свезти нас с сыном на речку Опариху, чтоб отвели мы душу на хариусах.

# Капля

Заманил речкой Опарихой Коля, а сам чего-то тянул с отъездом. «Вот Акимка явится, и двинем», – уверял он, то и дело выскакивая на берег Енисея, к пристани.

Аким – закадычный друг братана – уехал в Енисейск вербоваться в лесопожарники и, как я догадался, решил «разменять» подъемные, потому что не любил таскать за собою какие-либо ценности.

Я коротал время возле поселка, на галечном мысу, названном Карасинкой – хранились здесь цистерны с совхозным горючим, отсюда название, – таскал удочками бойких чебаков и речных окуней, белобрюхих, ярко-полосых, наглых. Шустрей их были только ерши – они не давали никакой рыбе подходить к корму. Днем мы купались и загорали под солнцем, набравшим знойную силу, лето в том году было жаркое даже на севере и вода, конечно, не такая, как на Черном море, но окунуться в нее все-таки возможно.

По причине ли сидячей работы, оттого ли, что курить бросил, тетки уверяют – в прадеда удался, прадед пузат был, – тучен я сделался, стеснялся себя такого и потому уходил купаться подальше от людей. Стоял я в плавках на мысу Карасинка, не отрывая взора от удочек, услышал:

– Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Это скоко продуктов ты пана, изводис?! Вот дак пузо! Тихий узас!

По Енисею на лодке сплывал паренек в светленьких и жидких волосенках, с приплюснутыми глазами и совершенно простодушной на тонкокожем, изветренном лице улыбкой.

По слову «пана», что значит парень, и по выговору, характерному для уроженцев нижнего Енисея, я догадался, кто это.

– А ты, сельдюк узкопятый, жрешь вино и не закусываешь, вот и приросло у тебя брюхо к спине!

Парень подгреб лодку к берегу, подтянул ее, подал мне руку – опять же привычка человека, редко видающегося с людьми, обязательно здороваться за руку, и лодку непременно поддергивать – низовская привычка: при северном подпружном ветре вода в реке прибывает незаметно и лодку может унести.

– Как это ты, пана, знас, што я сельдюк? – Рука сухожильная, жесткая, и весь «пана» сухощав, косолап, но сбит прочно.

– Я все про тебя знаю. Подъемные вот в Енисейске пропил!

Аким удивленно заморгал узенькими глазками, вздохнул покаянно:

– Пропил, пана. И аванец. И рузье…

– Ружье? За пропитое ружье раньше охотников пороли. Крестьянина за лошадь, охотника за ружье.

– Кто теперь пороть будет? Переворот был, свобода! – хохотнул Аким и бодро скомандовал: – Сматывай удочки!..

И вот мы катим по Енисею к незнакомой речке Опарихе. Мотор у братана древний, стационарный, бренчит громко, коптит вонько, мчится «семь верст в неделю, и только кустики мелькают». Опять же, нет худа без добра и добра без худа – насмотришься на реку, братца с приятелем наслушаешься. Зовут они себя хануриками, и слово это звуком ли, боком ли каким подходило к ним, укладывалось, будто кирпич в печной кладке.

Аким сидел за рулем – в болотных сапогах, в телогрейке нараспашку, кепчонку на нос насунул, мокрую сигаретку сосал. Коля тоже в сапогах, в телогрейке и все в той же вечной своей кепчонке-восьмиклинке, которая от пота, дыма и дождей, ее мочивших, сделалась земляного цвета. Под телогрейкой у Коли пиджачишко, бязевая рубаха – привычка охотников и рыбаков: на реке, в тайге в лодке быть «собранным» – плотно одетым в любое время года.

Брат узенько лепился на беседке посреди длинной лодки, мы с сыном против него, на другой. Громким голосом, рвущимся из-за перебоев ли в дыхании, Коля повествует об охотах, рыбалках и приключениях, изведанных ими. Знакомы они с Акимом еще с Игарки. Дружок и в Чуш притащился следом, живет в доме Коли, и хотя Коля и одногодок «пане», однако хозяин, женатик и потому журит Акима, и тот «слусается товариссса», если трезвый.

Слушая Колю, сын мой уже не раз падал со скамейки. Аким у руля одобрительно улыбался, понимая, что речь идет о них.

… За Опарихой, непроходимой для лодки, есть речка Сурниха, по которой осенью, когда вздует речку, можно где волоком, где шестом подняться километров на двадцать, а там рыбалка-а-а! Забрались парни в глубь тайги, на Сурниху. Устали до того, что ноги подламываются. Но Аким все равно не удержался, перебрел на порожек, лег на камень, долго глядел в воду, потом удочку забросил. Только забросил, тут же хариуса поднял, темного, яркоперого. «Пор-р-рядок!» – заорал. Ну а друг разве утерпит! И давай они шуровать, не поевши, не поспавши. Забросят и подымут, забросят и подымут то хариуса, то ленка. В азарт вошли, про все забыли, а ведь опытные таежники – знают: сперва отаборись, разбей стан, устройся, и тогда уж за дело.

Чего на скорую руку, тяп-ляп сделаешь, тяп-ляп и получится. Когда «попробовать» решили, вынули туесок с червями, взяли с собой только по щепотке, что она, щепотка-то, при таком клеве –

была и нет!

– Колька! – крикнул Акимка с порога, рыбачивший пониже его, в кружливом пенистом омутке. – Черви кончились. Во берет! Сходи, позалуста!

Оставив удочку с жилкой ноль шесть и двумя пробками, чтоб было видно, когда заклюет, братан подался к брошенным под кусты манаткам. Цап-царап – в туеске ни одного червяка! В тайге их не найти – мох, сырь, местами мерзлота, какой тут червяк выживет? Значит, накрылась рыбалка! Накрылись труд и старания. Валидол сосал, глаза на лоб лезли, когда тащил лодку по речке, и вот крах жизни.

– Акимка, падла! Кто-то всех червей спер!..

– Сто ты, сто ты, пана! – взревел Акимка и запрыгал по камням к берегу, поскользнулся, упал в речку, начерпал в сапоги. Туесок он тряс, щупал, лицо в него засунул – нету червей. У Коли от потрясения губы почернели. – Сто же это! Сто же это! – чуть не плача, повторял Акимка. – Озевали нас! Кержаки озевали! Дружишь с имя, привечаешь… – И вдруг Акимка смолк, увидев на пеньке черного дятла – желну. Сидит, клюв чистит. Дальше еще один – клиноголовики, муж с женой, видать. Такие оба довольные. Почистились, дремать пробуют после обеда. Еще с речки слышал Акимка, как они перекликались тут, квякали озабоченно, потом на весь лес стоном стонали – песня у них такая – напировались, весело им. «А-а, живоглоты! Поруху сделали! Теперь тувалет!» – Аким сгреб ружье и картечью в дятла. Близко стрелял, отшибло бедной птахе голову. Вторая желна застонала, запричитала на весь лес, черно умахивая в глубь тайги. Акимке мало, что расшиб из ружья птаху, он еще схватил дятла за крыло и шмякнул его в воду, как тряпку. Коля замахал руками, замычал, валидолину выплюнул и бултых в речку следом за дятлом. «Все! – ужаснулся Аким. – Спятил кореш!» Хотел бросаться спасать его, но Коля где плавом, где бродом догнал дятла, выловил и на берег, повторяя:

– Вот оне! Вот оне!..

Акимка глянул: черви, будто из копилки, вылезают из дятла и разбежаться метят. Другую желну Аким долго караулил, выставив туес на пенек. Явился разбойник, не запылился.

Аким прибил дятла аккуратно, да в брюхе пожоры от червей мало чего осталось. Попробовали рыбачить на птичьи потроха. Хариус, особо ленок брал безотказно, и наловили друзья два бочонка отборной рыбы. На всю зиму обеспечились, однако с тех пор рот в лесу не открывали и червей берегли пуще хлеба.

… Долго ли, коротко ли мы плыли, и привез нас моторишко к речке Опарихе, отстучал, отбренчал, успокоился, пар от него,

перекаленного, горячий валит, водой брызнули с весла – зашипело.

Аким в который раз предлагает уйти на Сурниху. Но мне чем-то с устья приглянулась Опариха, главный заман в том, что людей на ней не бывает – труднопроходимая речка.

– Смотри, пана, не покайся, – предупредил Аким, и мы пошли сначала бойко, но как залезли в переплетенные, лежащие на земле тальники, то и понял я сразу, отчего опытные таежники долго обходили эту речку стороной – здесь самые что ни на есть джунгли, только сибирские, и называются они точно и метко – шарагой, вертепником и просто дурниной.

Версты две продирались где ползком, где на карачках, где топором прорубаясь, где по кромке осыпного яра. И вот уж дух из нас вон! Гнуса в зарастельнике тучи, пот течет по лицам и шее, съедает солью противокомариную мазь.

Наконец-то шиверок! И сразу крутой поворот, ниже которого речка подмыла берег, навалила кустов смородины, шипицы, всякого гибника, две старые осины и большую ель. Место – лучше не придумать! Коля зашел на камни шиверка и через голову пульнул под кусты, на глубину толстую леску с пробками от шампанского. Я подумал, что после такого всплеска и при такой жилке ему не только хариус, но и крокодил, обживись он в этих студеных водах, едва ли клюнул бы, но не успел завершить свою мысль, как услышал:

– Е-э-э-эсь! – Жидкое, только что срубленное братом удилище изгибалось былкой под тяжестью крупного хариуса.

Все мы заторопились разматывать удочки, наживлять червей, и через минуту я услышал бульканье, шлепоток и увидел, как от упавшей с берега осинки сын поднимает ярко взблескивающего на свету хариуса. Все во мне обмерло: берег крутой, опутанный кустами, сын никогда еще не ловил такого крупного хариуса, хотя спец он по ним, и немалый. Он поднял рыбину над водой, но, привыкший рыбачить на стойкую бамбуковую удочку, позабыл, что в руках у него сырой черемуховый покон – рыбина разгулялась на леске, ударилась о куст и оборвалась в воду. Очумело выкинувшись наверх, хариус хлопнул сиреневым хвостом по воде и был таков!

Потоки ругательств, среди которых «растяпа» было едва ли не самое нежное, обрушил папа на голову родного дитяти. Аким, стоявший по другую сторону речки, не выдержал, заступился за парнишку:

– Что ты пушишь парня? Было бы из-за чего? Науди-им иссе! – и выдернул на берег серебрящегося хариуса. – Во, видал!

А я-то думал, что на его удочку и вовсе уж никто не

попадется – удилище с оглоблю, жилка – толще не продают, поплавок из пенопласта, с огурец величиной, крючок в самый раз для широкой налимьей пасти. Я перестал ругаться, пошел искать «хорошее» место, не найдя какового, на уральских речках, к примеру, хариуса не поймаешь. Загнали его там, беднягу, в угол, и таких он страхов натерпелся, что сделался недоверчивым, нервным и, прежде чем клюнуть, наденет очки, обнюхается, осмотрится, да и шасть под корягу, как распоследний бросовый усач или пищуженец.

С берега упал кедр, уронил собою несколько рябинок и вербу. Палые деревья образовали что-то вроде отбойной запруды, и там, где трепало их вершины, кружил, хлопался водоворот – непременно должна здесь стоять рыба, потому что ловко можно было выскакивать из ухоронки за кормом, но самая хитрая, самая прожорливая рыба, по моему разумению, должна стоять у комля, точнее, под комлем кедра, в тени меж обломанными сучками и вилкой корня. Темнел там вымытый омуток, в нем неторопливо кружило мусор, значит, и всякий корм. Требуется уменье попасть удочкой меж бережком и ветками кедра и не зацепиться, но все на тех же захламленных речках Урала, где хариус и поплавка боится, навострился наш брат видеть поклевки вовсе без каких-либо поплавков – впритирку ко дну, в хламе и шиверах проводит крючок без зацепов, добывая иногда на ушицу рыбы, каждая из коих плавает с порванными губами или кончила противокрючковые курсы.

Севши за кустик шиповника, я тихо пустил у ног в струйку крючок со свежим червяком, дробинкой-грузильцем и чутким осокоревым поплавком уральской конструкции – стоит даже уклейке понюхать наживку, поплавок нырь – и будьте здоровы! Поплыл мой поплавок. Я начал удобней устраиваться за кустом, глянул – нет поплавка. «Раззява! – обругал я себя. – Первый заброс – и крючок на ветках!» Потянул легонько, в удилище ударило, мгновенье – и у ног моих на камнях забился темный хариус, весь в сиреневых лепестках, будто весенний цветок прострел.

Я полюбовался рыбиной, положил ее в старый портфель, который дал мне Коля вместо сумки, уверенный, что ничего я не поймаю, сделал еще заброс – поплавок не успел дойти до ствола кедра, его качнуло и стремительно, без рывков повело вбок и вглубь – так уверенно берет только крупная рыба. Я подсек, рыба уперлась в быстрину, потащила леску в стрежень, но я стронул ее и с ходу выволок на камни. Ярко, огненно сверкнуло на камешнике, изогнулось дугой, покатилось, и я, считающий себя опытным и вроде бы солидным рыбаком, ахнув, упал на рыбину,

ловил ее под собою, пытался удержать в руках и не мог удержать. Наконец мне удалось ее отбросить от воды, прижать, трепещущую, буйную, к земле. «Ленок!» – возликовал я, много лет уже не видавший этой редчайшей по красоте рыбы – она обитает в холодных и чистейших водах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, где ленка называют гольцом. На Урале ленка нет!

Вам доводилось когда-нибудь видеть вынутую из кузнечного горна полосу железа? Еще не совсем остывшую, на концах и по краям еще красную, а с боков уже сиренево и сине отливающую? Сверх того, окраплена рыба пятнами, точками, скобками, которые гаснут на глазах. Ко всему этому еще гибкое, упругое тело – вот он каков, ленок! Как и всякое чудо природы, прекрасный ее каприз сохраняется только у «себя дома». На моих глазах такой боевой, ладный ленок тускнеет, вянет и успокаивается не только сила его, но и окраска. В портфель я кладу уже вялую, почти отцветшую рыбину, на которой остался лишь отблеск красоты, тень заката.

Но человек есть человек, и страсти его необоримы. Лишь слабенькое дуновение грусти коснулось моей души, и тут же все пропало, улетучилось под напором азарта и душевного ликования. Я вытянул из-под комля еще пару ленков и стал осваивать стрежину за вершиной кедра, где хариусы стояли отдельно от стремительных, прожорливых ленков, надежд на совместный прокорм почти не оставляющих, и поднял несколько рыбин. Я был так возбужден и захвачен рыбалкой, что забыл про комаров, про братана, про родное дитя.

– Папа! – послышался голос сына. – Я какого-то странного хариуса поймал! Очень красивого! – Я объяснил сыну, что это за рыба, и узнал – кроме ленка, сын добыл еще четырех хариусов, да каких! Парень он уравновешенный, немного замкнутый, а тут, чую, голосишко дрожит, возбудился, поговорить охота. – У тебя как?

Я показал ему большой палец и скоро услышал:

– Я снова ленка поймал!

– Молодец!

Надо мной зашуршало, покатилась земля, и я увидел на яру Акима.

– Ты се здесь делаешь? Ково ты здесь добудешь? – Я поднес к носу сельдюка портфель, и Аким схватился за щеку: – Ё-ка-лэ-мэ-нэ-э! Это се тако, пана?! – жаловался он подошедшему Коле. – Оне таскают и таскают!..

– Пушшай таскают! Пушшай душу порадуют! Натешатся!..

– Ты бы, – сказал я Акиму, – канат вместо жилки привязал да поплавок из полена сделал и лупцевал по воде…

Тут я выхватил еще одного хариуса из такого места, где, по мнению Акима, ни один нормальный рыбак не подумал бы рыбачить, а нормальная рыба – стоять. Сельдюк махнул рукой: «Чего-то нечисто тут!» – и пошлепал дальше, уверяя, что все равно всех обловит. За поворотом он запел во всю головушку: «Не тюрьма меня погубит, а сырая мать-земля…» Коля хохотал, перебредая по перекату через речку, говорил, что сельдюк узкопятый в самом деле всех обловит, убежит вперед, исхлещет речку, разгонит все, что есть в ней живое, и, если не встретится дурная рыба, обломает вершинку удилища, смотает на нее леску, натянет на ухо полутелогрейки и завалится спать. Его и комар не берет, за своего принимает.

Следом за Акимом подался дураковатый и прожорливый кобель Тарзан. Кукла, хитренькая такая сучка, верная и золотая в пушном промысле, не отходила от Коли, сидя чуть в отдалении, утиралась лапкой, смахивала с носа комаров. Почему Тарзан привязался к Акиму – загадка природы. Чего только не вытворял над Тарзаном сельдюк! И ругал его, и гонял его, если давал мелконькую рыбку слопать, непременно с фокусом – зашвырнет ее в гущу листьев копытника и понукает:

– Усь! Усь, собачка! Лови рыбу! Хватай!

Тарзан козлом прыгал в зарослях, брызгал водой, преследуя рыбешку, часто отпускал добычу и, облизнувшись, ждал подачку – рыбу он любил пуще сахара. Я уж устал хохотать, а сын мой – хлебом не корми, дай посмеяться, вместе с Тарзаном таскался за Акимом, любовно смотрел ему в рот.

– Акимка! – строжась, кричал Коля. – Скоро уху варить, а у нас че?

Аким не отзывался, исчез, подавшись вверх по речке. И мы углубились по Опарихе. Тайга темнела, кедрач подступил вплотную, местами почти смыкаясь над речкой. Вода делалась шумной, по обмыскам и от весны оставшимся проточинам росла непролазная смородина, зеленый дедюльник, пучки-борщевники с комом багрово-синей килы на вершине вот-вот собирались раскрыться светлыми зонтами. Возле притемненного зарослями ключа, в тени и холодке, цвели последним накалом жарки, везде уже осыпавшиеся, зато марьины коренья были в самой поре, кукушкины слезки, венерины башмачки, грушанка – сердечная травка – цвели повсюду, и по логам, где долго лежал снег, приморились ветреницы, хохлатки. На смену им шла живучая трава криводенка, вострился сгармошенными листьями кукольник. Населяя зеленью приречные низины, лога, обмыски, проникая в тень хвойников, под которыми доцветала брусника, седьмичник, заячья капуста и вонючий болотный болиголов,

всегда припаздывающее здесь лето трудно пробиралось по Опарихе в гущу лесов, оглушенных зимними морозами и снегом.

Идти сделалось легче. Чернолесье, тальники, шипица, боярышник, таволожник и всякая шарага оробели, остановились перед плотной стеной тайги и лишь буераками, пустошами, оставшимися от пожарищ, звериными набродами, крадучись пробирались в тихую прель дремучих лесов.

Опариха все чаще и круче загибалась в короткие, но бойкие излучины, за каждой из которых перекат, за перекатом плесо или омуток.

Мы перебредали с мыса на мыс, и кто был в коротких сапогах, черпанул уже дух захватывающей, знойно-студеной воды, до того прозрачной, что местами казалось по щиколотку, но можно ухнуть до пояса. Коля предлагал остановиться, сварить уху, потому что солнце поднялось высоко, было парко, совсем изморно сделалось дышать в глухой одежде – защите от комаров. Они так покормились под шумок, что все лицо у меня горело, за ушами вспухло, болела шея, руки от запястий до пальцев в крови.

Уперлись в завал.

– Дальше, – сказал Коля, – ни один местный ханыга летом не забирался, – и покричал Акима.

Отклика не последовало.

– Вот марал! Вот бродяга! Парня замучает. Тарзана ухайдакает.

В могучем завале, таком старом, вздыбленном, слоеном, что местами взошел на нем многородный ольховник, гнулся черемушник, клешнясто хватался за бревна, по-рачьи карабкался вверх узколистый краснотал и ник к воде смородинник. Речку испластало в клочья, из-под завала там и сям вылетали взъерошенные, скомканные потоки и поскорее сбегались вместе. Такие места, хотя по ним и опасно лазить – деревья и выворотни сопрели, можно обвалиться, изувечиться, – никакой «цивилизованный» рыбак не обойдет. Я забрался в жуткие дебри завала, сказав ребятам, чтоб они стороной обходили это гиблое место, где воду слышно, да не видно и все скоргочет под ногами от короедов, жуков и тли.

Меж выворотней, корневищ, хлама, сучкастых стволов дерев, слизанных водою бревен, нагромождения камней, гальки, плитняка темнели вымоины. Вижу в одной из них стайку мелочи. Хариус выпрыгивает белым рыльцем вверх, прощупывает мусор и короедами точенную древесную труху. Иной рыбехе удается поддеть губой личинку короеда либо комара, и она задает стрекача под бревна, вся стайка следом. Один рукав круто скатывается под бревно, исчезает в руинах завала, и не скоро он,

очумелый от темноты и тесноты, выпутается из лесного месива. Осторожно спускаю леску с руки, и, едва червяк коснулся воды, из-под бревна метнулась тень, по руке ударило, я осторожно начал поднимать пружинисто бьющуюся на крючке рыбину.

Пока вернулся Аким с компанией, едва волочившей ноги, так он ушомкал ее, бегая по Опарихе, я вытащил из завала несколько хариусов, собрался похвастаться ими, но пана открыл свою сумку, и я увидел там таких красавцев ленков, что померкли мои успехи, однако по количеству голов сын обловил Акима, и он великодушно хвалил нас:

– Ё-ка-лэ-мэ-нэ! Пана, се за рыбаки понаехали! Сзади, понимас, идут и понужают, и понужают! Тихий узас!

Я заверил друзей-ханурикoв, что со своей нахальной снастью они ничего, кроме коряжины иль старого сапога, в местах обетованных не выудят.

– А мы туды и не поедем, раз такое дело! – в голос заявили сельдюки. Колю я тоже звал сельдюком, потому что вся сознательная жизнь его прошла на севере и рыбы, в том числе и туруханской селедки, переловил он уйму, а тому, сколько могут съесть рыбы эти мужички-сельдючки величиной с подростков, вскоре стали мы очевидцами.

Аким умело, быстро очистил пойманную рыбу. Я подумал, подсолить хочет, чтобы не испортилась. Но, прокипятив воду с картошкой, он всю добычу завалил в ведро, палкой рыбу поприжал, чтобы не обгорели хвосты.

– Куда же столько?

– Нисе, съедим! Проходилися, проголодалися.

Это была уха! Ухи, по правде сказать, в ведре почти не оказалось, был навар, и какой! Сын у меня мастак ловить рыбу, но ест неохотно. А я уж отвык от рыбного изобилия, управил с пяток некрупных, нежных хариусов и отвалился от ведра.

– Хэ! Едок! – фыркнул Аким. – Ты на сем тако брюхо держишь?

Вывалив рыбу на плащ, круто посолив ее, сельдюки вприкуску с береговым луком неторопливо подчистили весь улов до косточки, даже головы рыбьи высосали. Я осмотрел их с недоверием наново: куда же они рыбу-то поместили?! Жахнув по пятку кружек чаю и подморгнув друг дружке, сельдюки подвели итог:

– Ну, слава богу, маленько закусили. Бог напитал, никто не видал.

– Вот это вы дали!

– На рыбе выросли, – сказал Коля, собирая ложки, – до того папа доводил, что, веришь – нет, жевали рыбу без хлеба, без соли,

как траву…

– Как не поверить! Я ведь нашему папе сродни…

Аким, почуяв, что нас начинают охватывать невеселые воспоминания, поднял себя с земли, зевнул широко, обломал конец удилища, смотал на него леску, взял вещмешок, сбросал в него лишний багаж и, заявив, что такую рыбалку он в гробу видел и что лодку без присмотра на ночь нельзя оставлять, подался вниз по речке, к Енисею.

Мы еще поговорили у затухающего костерика и уже неторопливо побрели вверх по Опарихе. Чем дальше мы шли, тем сильнее клевала рыба. Запал и горячка кончились. Коля взял у меня портфель, отдал рюкзак, куда я поставил ведро, чтоб хариусы и ленки не мялись. У рыбы, обитающей в неге холодной чистой воды, через час-другой «вылезало» брюхо. Тарзан до того наелся рыбой и так подбил мокрые лапы на камешнике, что шел, пьяно шатаясь, и время от времени пьяно же завывал на весь лес, зачем, дескать, я с вами связался? Зачем не остался лодку сторожить? Был бы сейчас с Акимкой у стана, он бы со мной баловался, и никуда не надо топать. Кукла-работница лапок не намочила, шла верхом, мощным лесом и только хвостом повиливала, явившись кому-нибудь из нас. Где-то кого-то она раскапывала, нос у нее был в земле и сукровице, глаза сыто затуманились.

Когда-то здесь, на Опарихе, Коля стрелял глухарину, и молодая, только что начинавшая охотничать собака дуром ринулась на глухаря. Тот грозно растопорщился, зашипел и так долбанул клювом в лоб молодую сучонку, что она опешила и шасть хозяину меж ног. Глухарь же до того разъярился, до того ослеп от гневной силы, что пошел боем дальше, распустив хвост и крылья. «Кукла! Да он же сожрет нас! – закричал Коля. – Асю его!» – Кукла хоть и боялась глухаря, хозяина ослушаться не посмела, обошла птицу с тыла, теребнула за хвост. С тех пор идет собачонка на любого зверя, медведь ей не страшен, но вот глухаря побаивается, не облаивает, если возможно, минует его стороной.

Опариха становилась все быстрей и сумрачней. Реденько выступал мысок со взбитым зеленым чубом листвы или в зарослях осоки. Кедры, сосняки, ельники, пихтовники вплотную подступали к речке. Космы ягелей и вымытых кореньев свисали с подмытых яров, лесная прель кружилась над речкой, в носу холодило полого плывущим духом зацветающих мхов, в горле горчило от молодых, но уже пыльно сорящих папоротников, реденькие лесные цветы набухали там и сям шишечками, дудочник шел в трубку. В иное лето цветы и дудки здесь так и

засыхают не расцветя.

Отошли семь-восемь километров от Енисея, и нет уже человеческого следка, кострища, порубок, пеньков – никакой пакости. Чаще завалы поперек речки, чаще следы маралов и сохатых на перетертом водою песке. Солнце катилось куда-то в еще более густую темь лесов. Перед закатом освирепел гнус, стало душнее, тише и дремучей. Над нами просвистели крохали, упали в речку, черкнув по ней отвислыми задами и яркими лапами. Утки огляделись, открякались и стали выедать мелкого хариуса, загоняя его на мелководье.

Я взглянул на часы, было семь минут двенадцатого, и улыбнулся про себя – мы отстояли четырнадцатичасовую вахту, и не просто отстояли: продирались в дебри где грудью, где ползком, где вброд; если бы кого из нас заставили проделать такую же работу на производстве, мы написали бы жалобу в профсоюз.

Коля выбрал песчаный опечек и пластом упал на него. Хотя обдувья не было – так загустела тайга вокруг, по распадку угорело виляющей речки все же тянуло холодком, лица касалось едва ощутимое движение воздуха, скорее дыхание тайги, одурманенное доцветающей невдалеке черемухой, дудками дедюльников, марьиного корня и папоротников.

Пониже мыска, у подмытого кедра, динозавром стоявшего на лапах в воде, полосами кружилось уловце, маячила над ним тонкая фигура сынишки – там уж три раза брал и сходил «здоровенный харюзина»!

Я крикнул сына, и он с сожалением оставил недобытого хариуса. Мы свалили кедровую сухарину, раскряжевали ее топором. И вот уж кипяток, запаренный смородинником и для крепости приправленный фабричным чаем, напрел, запáх. Брат лежал на опечке вниз лицом, не шевелясь. Я налил в кружку чаю, потрогал брата за плечо.

– Сейчас, – не поднимая головы, отозвался он и сколько-то времени еще полежал, вслушиваясь в себя. С трудом приподнялся, сел, потирая ладонью левую половину груди. – Тайга-мама заманила, титьку дала – малец и дорвался, сам себе язык откусил…

Чай подживил Колю. Он прилег на бок, уперся щекой в ладонь, слушал тайгу-маму – она отодвинулась от всех шумов, шорохов, отстранилась от всякого движения и отчужденно погружалась в самое себя, в хвою, в листья, в мох, в хлябистые болота. Было слышно птицу, где-то за версту неловко и грузно садившуюся в дерево; жуков, орехово щелкающихся о стволы, крохалей, озадаченных костром, ярче и ярче в сумерках светящем,

и коротко по этому поводу переговаривающихся; падение прошлогодней шишки, сухо цепляющейся за сучки; короткий свист бурундука и чем-то потревоженную желну, заскулившую на весь лес, при крике которой сморщило губы брата улыбкой, и мы с сыном тоже заулыбались, вспомнив о приключении хануриков-друзей на Сурнихе. Но все вокруг сняло журчанием берестяного пастушьего рожка, почти сливающимся с чурлюканьем речки в перекате и все же отдельным от него, нежным, страстным, зовущим.

– Ты чего? – повернулся ко мне братан. – Какие тебе тут пастухи? Здесь скот – маралы, олени да сохатые… – Говорил он резко, почти сердито – нездоровилось ему. Но, перехватив мой взгляд, без необходимости поправил огонь, мягче пояснил: – Маралуха с теленком пасется…

Собаки одыбались, навострили уши. Я перестал рубить лапник для подстилки. Но скоро собаки успокоились, прикрылись хвостами. Хитрая и умная Кукла легла под тягу дыма, и от нее отжимало комара. Тарзан почти залез в огонь, и все равно гнус загрызал его. Он время от времени лапами стряхивал комаров с морды, упречно глядел на нас – что же это, дескать, такое? Куда вы меня завели и чего вам дома не сидится! Коля бросил на лапник телогрейку, натянул на ухо воротник старого пиджака, осадил ниже кепчонку и лег по одну сторону костра; сын, обмотавшись брезентовыми штанами, устроился по другую.

Я спать не хотел. Не мог. Напился крепкого чая, за братана переживал и, кроме того, столько лет мечтал посидеть у костра в тайге, еще не тронутой, точнее сказать, не поувеченной человеком, так неужели этот редкий уже праздник продрыхать?!

Что испытывал я тогда на Опарихе, у одинокого костра, хвостатой кометой мечущегося в темени лесов, возле дикошарой днем, а ночью по-женски присмирелой, притаенно говорливой речки? Все. И ничего.

Дома, в городской квартире, закиснув у батареи парового отопления, мечтаешь: будет весна, лето, я убреду в лес и там увижу такое, переживу разэтакое… Все мы, русские люди, до старости остаемся в чем-то ребятишками, вечно ждем подарков, сказочек, чего-то необыкновенного, согревающего, даже прожигающего душу, покрытую окалиной грубости, но в середке незащищенную, которая и в изношенном, истерзанном, старом теле часто ухитряется сохраняться в птенцовом пухе.

И не ожидание ли необычного, этой вечной сказочки, не жажда ли чуда толкнули однажды моего брата в таймырскую тундру, на речку Дудыпту, где совсем не сказочной болезнью и тоской наделила его шаманка? И что привело нас сюда, на

Опариху? Не желание же кормить комаров, коих чем глуше ночь, тем гуще клубится и ноет возле нас. В отсвете костра, падающего на воду, видно не просто серое облако гнуса, а на замазку похожее тесто. Без мутовки, само собою сбивается оно над огнем, набухает, словно на опаре, осыпая в огонь желтые отруби.

Коля и сын спрятали руки под себя, дрыгаются, бьются во сне. Собаки пододвинулись вплотную к огню. Я же, хорошо умывшись в речке, сбив с лица пот, густо намазался репудином (если бы существовал рай, я бы заранее подал туда заявление с просьбой забронировать там лучшее место для того, кто придумал мазь от гнуса). Иной ловкач-комар все же находил место, где насосаться крови, то и дело слышится: «шпы-ы-ынь…» – это тяжело отделяется от меня опившийся долгоносый зверь. Но дышать-то, жить, смотреть, слушать можно, и что она, эта боль от укусов, в сравнении с тем покоем и утешением сердца, которое старомодно именуется блаженством.

На речке появился туман. Его подхватывало токами воздуха, тащило над водой, рвало о подмытые дерева, свертывало в валки, катило над короткими плесами, опятнанными кругляшками пены. Нет, нельзя, пожалуй, назвать туманами легкие, кисеей колышущиеся полосы. Это облегченное дыхание земли после парного дня, освобождение от давящей духоты, успокоение прохладой всего живого. Даже малявки в речке перестали плавиться и плескаться. Речка текла, ровно бы мохом укрытая, мокро всюду сделалось, заблестели листья, хвою, комки цветов, гибкие тальники одавило сыростью, черемуха на том берегу перестала сорить в воду белым, поределые, растрепанные кисти полоскало потоком, и что-то было в этой поздно, тощо и бедно цветущей черемушке от современной женщины, от ее потуг хоть и в возрасте, хоть с летами нарядиться, отлюбить, отпраздновать дарованную природой весну.

За кедром, динозавром маячившим в воде, в ночи сделавшимся еще более похожим на допотопного зверя, где стоял «харюзина», не изловленный сыном, блеснуло раз-другой, разрезало острием серпика речку от берега до берега, точно лист цинкового железа, и туманы, расстриженные надвое, тоже разделились – одна полоса, подхваченная речкой, потекла вниз, другая сбилась в облачко, которое притулилось к берегу, осело на кусты подле нашего костра.

Блеклым светом наполнилось пространство, раздвинулась глубь тайги, дохнуло оттуда чистым холодом, на глазах начал распадаться ком гнуса, исчезать куда-то, реденько кружило дымом уже вялых, молчаливых мокрецов. Ребята у костра внятно вздохнули, напряженные тела их распустились – уснули глубоко,

все в них отдыхало – слух, нюх, перетруженные руки и ноги. Который-то из парней даже всхрапнул коротко, выразительно, но тут же подавил в себе храп, чуя подсознанием, что спит он не дома, не под крышей, не за запорами, какая-то часть его мозга бдила, была настороже.

Я подладил костер. Он вспыхнул на минуту и тут же унялся. Дым откачнуло к воде, туда же загнуло яркий гребень огонька. Придвинувшись к костру, я вытянул руки, сжимал и разжимал пальцы, будто срывал лепестки с громадного сибирского жарка. Руки, особенно левая, занемели, по плечу и ниже его холодным пластом лежала вкрадчивая боль – сказывалось долгое городское сидение – и такая сразу нагрузка да вчерашняя духотища.

Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц, задел за острие высокой ели и без всплеска сорвался в уремную гущу. Сеево звезд на небе сгустилось, потемнела речка, и тени деревь, объявившиеся было при месяце, опять исчезли. Лишь отблескивала в перекатах Опариха, катясь по пропаханной, вилючей бородке к Енисею. Там она распластается по пологому берегу на рукава, проточины и обтрепанной метелкой станет почесывать бок грузного, силой налитого Енисея, несмело с ним заигрывая. Чуть приостановив себя на выдавшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжелую воду, батюшко Енисей принимал в себя еще одну речушку, сплетал ее в клубок с другими светлыми речками, речушками, которые сотни и тысячи верст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтобы капля по капле наполнять молодой силой вечное движение.

Казалось, тише, чем было, и быть уж не могло, но не слухом, не телом, а душою природы, присутствующей и во мне, я почувствовал вершину тишины, младенчески пульсирующее темечко нарождающегося дня – настал тот краткий миг, когда над миром парил лишь божий дух един, как рекли в старину.

На заостренном конце продолговатого ивового листа набухла, созрела продолговатая капля и, тяжелой силой налитая, замерла, боясь обрушить мир своим падением.

И я замер.

Так на фронте цепенел возле орудия боец с натянутым ремнем, ожидая голос команды, который сам по себе был только слабым человечьим голосом, но он повелевал страшной силой – огнем, в древности им обожествленным, затем обращенным в погибельный смерч. Когда-то с четверенек взнявшее человека до самого разумного из разумных существ, слово это сделалось его карающей десницей. «Огонь!» – не было и нет для меня среди известных мне слов слова ужасней и притягательней!

Капля висела над моим лицом, прозрачная и грузная.

Таловый листок держал ее в стоке желобка, не одолела, не могла пока одолеть тяжесть капли упругую стойкость листка. «Не падай! Не падай!» – заклинал я, просил, молил, кожей и сердцем внимая покою, скрытому в себе и в мире.

В глуби лесов угадывалось чье-то тайное дыхание, мягкие шаги. И в небе чудилось осмысленное, но тоже тайное движение облаков, а может быть, иных миров иль «ангелов крыла»?! В такой райской тишине и в ангелов поверишь, и в вечное блаженство, и в истлевание зла, и в воскресение вечной доброты. Собаки тревожились, вскидывали головы. Тарзан зарычал приглушенно и какое-то время катал камешки в горле, но, снова задремывая, невнятно тявкнул, хлюпнул ртом, заглотив рык вместе с комарами.

Ребята крепко спали.

Я налил себе чаю, засоренного хлопьями отгара и комаров, глядел на огонь, думал о больном брате, о подростке-сыне. Казались они мне малыми, всеми забытыми, спозаброшенными, нуждающимися в моей защите. Сын кончил девятый класс, был весь в костях, лопатки угловато оттопыривали куртку на спине, кожа на запястьях тонко натянута, ноги в коленях корнем – не сложился еще, не окреп, совсем парнишка. Но скоро отрываться и ему от семьи, уходить в ученье, в армию, к чужим людям, на чужой догляд. Брат, хотя годами и мужик, двоих ребятишек нажил, всю тайгу и Енисей обшастал, Таймыра хватил, корпусом меньше моего сына-подростка. На шее позвонки орешками высыпали, руки в кистях тонкие, жидкие, спина осажена надсадой к крестцу, брюхо серпом, в крыльцах сутул, узок, но жилист, подсадист, под заморышной, невидной статью прячется мужицкая хватка и крепкая порода, ан жалко отчего-то и сына, и брата, и всех людей на свете. Спят вот доверчиво у таежного костра, средь необъятного, настороженного мира два близких человека, спят, пустив слюнки самого сладкого, наутреннего сна, и сонным разумом сознают, нет, не сознают, а ощущают защиту – рядом кто-то, стережет их от опасностей, подживляет костер, греет, думает о них…

Но ведь когда-то они останутся одни, сами с собой и с этим прекраснейшим и грозным миром, и ни я, ни кто другой не сможет их греть и оберегать!

Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним: дети – счастье, дети – радость, дети – свет в окошке! Но дети – это еще и мука наша. Вечная наша тревога. Дети – это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу – все наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими – никогда. И еще: какие бы они ни были,

большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь: вот скоро умирать, а они тут останутся одни, кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъянами? Кто поймет? Простит?

И эта капля!

Что, если она обрушится наземь? Ах, если б возможно было оставить детей со спокойным сердцем, в успокоенном мире!

Но капля, капля!..

Я закинул руки за голову. Высоко-высоко, в сереньком, чуть размытом над далеким Енисеем небе различил две мерцающие звездочки, величиной с семечко таежного цветка майника. Звезды всегда вызывают во мне чувство сосущего, тоскливого успокоения своим лампадным светом, неотгаданностью, недоступностью. Если мне говорят: «тот свет», – я не загробье, не темноту воображаю, а эти вот мелконькие, удаленно помаргивающие звездочки. Странно все-таки, почему именно свет слабых, удаленных звезд, наполняет меня печальным успокоением? А что тут, собственно, странного? С возрастом я узнал: радость кратка, преходяща, часто обманчива, печаль вечна, благотворна, неизменна. Радость сверкнет зарницей, нет, молнией скорее и укатится с перекатным громыханьем. Печаль светит тихо, как неугаданная звезда, но свет этот не меркнет ни ночью, ни днем, рождает думы о ближних, тоску по любви, мечты о чем-то неведомом, то ли о прошлом, всегда томительно-сладком, то ли о заманчивом и от неясности пугающе-притягательном будущем. Мудра, взросла печаль – ей миллионы лет, радость же всегда в детском возрасте, в детском обличье, ибо всяким сердцем она рождается заново, и чем дальше в жизнь, тем меньше ее, ну вот как цветов – чем гуще тайга, тем они реже.

Но при чем тут небо, звезды, ночь, таежная тьма?

Это она, моя душа, наполнила все вокруг беспокойством, недоверием, ожиданием беды. Тайга на земле и звезды на небе были тысячи лет до нас. Звезды потухали иль разбивались на осколки, взамен их расцветали на небе другие. И деревья в тайге умирали и рождались, одно дерево сжигало молнией, подмывало рекой, другое сорило семена в воду, по ветру, птица отрывала шишку от кедра, клевала орехи и сорила ими в мох. Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу тоже. Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнем. Но страху, смятенности своей не смогли ей передать, не привили и враждебности, как ни старались. Тайга все так же величественна, торжественна, невозмутима. Мы внушаем себе, будто управляем природой и что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот

удается до тех пор, пока не останешься с тайгою с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачуешься ею, тогда только вонъмешь ее могуществу, почувствуешь ее космическую пространственность и величие.

С виду же здесь все просто, всякому глазу и уху доступно. Вон соболек мелькнул по вершинам через речку, циркнул от испугу и любопытства, заметив наш костер. Выслеживает соболек белку, чтобы унести своим соболятам на корм. Птица, грузно садившаяся ночью в дерево, была капалуха, на исходе вечера слетавшая с гнезда размять крылья. Лапы у нее закостенели под брюхом от сидения и неподвижности, худо цеплялись за ветви, оттого она так долго и громоздилась при посадке. Осмотревшись с высоты, не крадется ль к яйцам, оставленным в гнезде, какой хищник, капалуха тенью скользнула вниз подкормиться прошлогодней брусникой, семечками и, покружив возле дерев, снова вернулась к пестрому выворотню, под которым у нее лежало в круглом гнезде пяток тоже пестрых, не всякому глазу заметных яиц. Горячим телом, выщипанным до наготы, она накрыла яйца, глаза ее истомно смежились – птица выпаривала цыпушек – глухарят.

Близко от валежины прошла маралуха с теленком. Пошевеливая ушами из стороны в сторону, мать тыкалась в землю носом, срывая листок-другой – не столько уж покормиться самой, сколько показать дитю, как это делается. Забрел в Опариху выше нашего стана сохатый, жует листья, водяную траву, объедь несет по речке. Сиреневые игрушечные пупыри набухли в лапах кедрачей, через месяц-два эти пупырышки превратятся в крупные шишки, нальется в них лаково-желтый орех. Прилетела жарового цвета птица ронжа, зачем-то отвинтила, оторвала лапами сиреневую шишечку с кедра и умахала в кусты, забазарив там противным голосом, не схожим с ее заморской, попугайной красотой. От крика иль тени разбойницы ронжи, способной склевать и яички, и птенцов, и саму наседку, встрепенулся в камешках зуек, подбежал к речке и не то попил, не то на себя погляделся в воду, тут же цвиркнула, взнялась из засидки серенькая трясогузка, с ходу сцапала комара иль поденка и усмыгнула в долготелые цветочки с багровым стеблем. Цветочки на долгой ножке, листом, цветом и всем обличьем похожие на ландыши. Но какие же тут ландыши? Это ж черемша. Везде она захрясла, сделалась жесткой и только здесь, в глуби тайги, под тенистым бережком, наливается соком отдавшей мерзлоты. Вон кристаллики мерзлоты замерцали на вытаине по ту сторону речки, сиреневые пупырки на кедре видно, трясогузка кормится, куличок охорашивается, пуночки по дереву белыми пятнышками

замелькали…

Так значит?…

Да утро ж накатило!

Прозевал, не заметил, как оно подкралось. Опрал, истаял морок, туманы унесло куда-то, лес обозначился пестрядью стволов. Сова, шнырявшая глухой полночью над речкой и всякий раз, как ее наносило на свет костра, скомканно шарахавшаяся, ткнулась в талину, уставилась на наш табор и, ничего-то не видя, на глазах оплывала, уменьшалась, прижимая перо ближе к телу. Взбили воду крыльями, снялись с речки крохали, просвистели над нами, согласно повернув головы к костру, чуть взмыли над его вытянутым, вяло колеблющимся дымом.

Все было как надо! И я не хочу, не стану думать о том, что там, за тайгою? Не желаю! И хорошо, что северная летняя ночь коротка, нет в ней могильной тьмы. Будь ночь длинна и темна, и мысли б темные, длинные в башку лезли, и успел бы я воссоединить вместе эту девственную, необъятную тишину и – клокочущий где-то мир, самим же человеком придуманный, построенный и зажавший его в городские щели.

Хоть на одну ночь да отделился я от него, и душа моя отошла; отдохнула, обрела уверенность в нескончаемости мироздания и прочности жизни.

Тайга дышала, просыпалась, росла.

А капля?

Я оглянулся и от серебристого крапа, невдали переходящего в сплошное сияние, зажмурил глаза. Сердце мое трепыхнулось и обмерло от радости: на каждом листке, на каждой хвоинке, травке, в венцах соцветий, на дудках дедюлек, на лапах пихтарников, на необгорелыми концами высунувшихся из костра дровах, на одежде, на сухостоинах и на живых стволах деревьев, даже на сапогах спящих ребят мерцали, светились, играли капли, и каждая роняла крошечную блестку света, но, слившись вместе, эти блестки заливали сиянием торжествующей жизни все вокруг, и вроде бы впервые за четверть века, минувшего с войны, я, не зная, кому в этот миг воздать благодарность, пролепетал, а быть может, подумал: «Как хорошо, что меня не убили на войне и я дожил до этого утра…»

Отволгло все вокруг, наполнилось живительной влагой, уронило листья пером вниз, и потекли, покатились капли с едва слышным шорохом на землю, на песок, на берег Опарихи, на желтое топорище, на серенький рюкзачок, на сухостоину, стоящую в речке. Травы покорно полегли, цветы сникли, хвоя на кедрах счесалась острием долу, черемуховые кисти за речкой сваляло в ватку, ребята съежились возле пригасшего огня,

подвели ноги к животам, псы поднялись, начали потягиваться, зевая с провизгом широко распахнутыми, ребристыми пастями.

– Эк вас, окаянных! – проворчал я на них незлобиво. – Раздерет!

Кукла шевельнула извинительно хвостом, затворила рот. Тарзан истошно взвизгнул, завершая сладкий зевок, и принялся отряхиваться, соря песком и шерстью. Я отогнал его от костра, разулся, пристроил на колышки отсыревшие в резиновых сапогах портянки и, закатав штаны, побрел через речку. Стиснуло, схватило льдистыми клещами ноги, под грудью заломило, замерло, появилась тошнота. Но я перебрел через речку, напластал беремя черемши, бросил ее у костра, обулся и уловил взглядом: где-то в вершине соседней речки – Сурнихи, за горбом осередыша, за лесами, за подтаежьем обозначило себя солнце. Еще ни единый луч его не прошил острой иглой овчину тайги, но по небу во всю ширь расплылась размоина, и белесая глубь небес все таяла, таяла, обнажая блеклую, прозрачно-льдистую голубизну, в которой все ощутимей глазу или другому, более памятному и восприимчивому зрению, виделась пока несмелая, силы не набравшая теплота.

Живым духом полнилась округа леса, кусты, травы, листья. Залетали мухи, снова защелкали о стволы дерев и о камни железнолобые жуки и божьи коровки; бурундук умылся лапками на коряжине и беззаботно деранул куда-то; закричали всюду кедровки, костер наш, едва верескавший, воспрянул, щелкнул раз-другой, разбрасывая угли, и сам собою занялся огнем. От звука ахнувшего костра совсем близко, за тальником, что-то грузно, с храпом метнулось и загромыхало камнями. Собаки хватили в кусты, сбивая с них мокро, лая вперебой, мокрая и сонная сова зашаталась на талине, запурхалась, но отлететь далеко не смогла, плюхнулась за речкой в мох.

– Сохатый, дубак! – вскинув голову и вытирая припухшие от укусов губы и сонные глаза, сказал Коля и щелкнул по носу моментом вернувшихся из погони мокрых псов: – Ы-ы, падлы! Дрыхаете, а людей чуть не слопали…

Кукла стыдливо отвернулась. Тарзан, предположив, что с ним играют, полез на Колю грязными лапами. Тот его завалил на песок, хлопнул по мокрущему пузу так, что брызги полетели.

Балуется братан, значит, отлегло.

– Хватит дуреть-то! – по праву старшего заворчал я, доставая из рюкзака мыло, и велел ему умыться. Сам же бродом поспешил к кедру, все так же упорно, лбом встречь течению стоявшему в речке – «харюзина» тревожил меня, побуждал к действию. Поплавок коснулся воды, выправился, бойким острием пошел

вдоль дерева. Меня потянуло на зевоту, только рот мой распялило судорогой, поплавок безо всяких толчков и прыжков исчез в отбойной струе; я не успел завершить сладостный зевок – на удочке загуляла сильная рыбина, потянулась под сучковатый кедр, уперлась в нахлестный вал отбоя. Но я не дал уйти хариусу под кедр – там он запутается в сучках, сорвется, быстро повел его и ходом вынес на опечек. Забился, засверкал боец-удалец на короткой леске, сгибая удилище, обручем завертываясь в кольцо – ни одной из речных рыб не извернуться на леске кольцом, только харус с ленком такие циркачи.

Коля поднял от воды намыленное лицо, заорал сыну:

– Плакал твой харюз!

– Красавец-то какой! – подняв голову и проморгавшись, произнес сын и, начавши обуваться, подморгнул дяде: – Я бы его вытащил, да папа из-за харюза всю ночь не спал – пускай пользуется!..

– Ишь какие весельчаки! Выспались, взбодрились! Вам бы еще сельдюка в придачу!

Но они и без Акима обходились хорошо. Пока пили чай, подначивали меня, дразнили собак, проворонивших сохатого.

Солнце разом во всем сиянии поднялось над лесом, пробив его из края в край пучками ломких спиц, раскрошившихся в быстро текущих водах Опарихи.

Далеко-далеко возник широкий шум, ветер еще не достиг нашего стана, но уже из костра порхнули хлопья отгара, трепыхнулась листва на шипице, залопотала осина, порснула черемуха в речку белыми чешуйками. И вот качнуло сперва густые вершины кедрачей, затем дрогнул и сломился крест на высокой ели, лес задвигался, закачал ветвями, первый порыв ветра пробился к речке, выдул огонь из костра, завил над ним едкий дым, однако валом катившийся шум еще был далек, еще он только набирался мощи, еще он вроде бы не решался выйти на просторы, а каждое дерево, каждая ветка, листок и хвоинка гнулись все дружней, монолитней, и далекий шум тайги, так и не покидая дебри, принял в себя, собрал вместе, объединил движение всех листьев, трав, хвоинок, ветвей, верший, и уже не шум, шумище, переходящий в раскатное гудение, грозно покатился валами по земле, вытянуло из-за лесов одно, второе облако, там уж барашковое пушистое стадо разбрелось во всю ширь взора и по чуть заметной притемненности, как бы размазавшей обрез неба и кромку лесов, объединив их вместе, угадывались с севера идущие непогожие тучи.

Вот отчего так тяжело было дышать вчера, воздух, смешанный с тестом гнуса, изморностью сваривал тело, угнетал

сердце – приближалось ненастье.

Шли быстро. Рыбачили мало. Ветер расходился, а с ветром на Енисее, да еще с северным, шутить нельзя, лодка у нас старая, мотор почти утильный, правда, лоцманы бывалые.

Тайга качалась, шипели ветви кедрачей, трепало листья березняков, осин и чернолесья. Коля все настойчивей подгонял нас, ругал Тарзана. Тот совсем не мог идти на подбитых, за ночь опухших подушках лап, отставал все дальше и дальше, горестно завывал, после заплакал голосом. Мы хотели его подождать и понести хоть на себе, но брат закричал на нас и побежал скорее к Енисею.

Чем ближе была река, тем сильнее напоры ветра. В глуби тайги он ощущался меньше, и шум тайги, сплошняком катящийся над головами, не так уж и пугал. Но по Енисею уже ходили беляки, ветер налетал порывами, шум то нарастал, то опадал, шторм набирал силу, разгоняя с реки лодки и мелкие суда.

Аким собрал вещи, приготовил лодку, ждал нас и, когда встретил, вместо приветствия заругался:

– Оне люди городские, не понимают, че к чему! Но ты-то, ты-то че думашь своей башкой? – корил он Колю.

– Тарзан отстал. Ждать придется.

– Тарзана дождать, самим погибнуть! – отринул наши городские претензии Аким и маленько смягчился лишь после того, как удалось нам оттолкнуть лодку, выбиться из нахлестной прибрежной волны. – Никуда не денется байбак! Отлежится в тайге, голодухи хватит, умней будет.

Переходили на подветренную сторону, под крутой берег, и теперь только стало ясно, отчего сердился Аким, мирный человек. Через нос лодки било, порой накрывая всю ее волной. Мы вперебой выхлестывали банкой, веслом, ведром воду за борт. Банка и весло – какая посуда? Я сдернул сапог, принялся орудовать им. Аким, сжимая ручку руля, рубил крутым носом лодки волну, улучив момент, одобрительно мне кивнул. Сын, не бывавший на больших реках в штормовых переделках, побледнел, но работал молча и за борт не смотрел. Моторишко, старый, верный моторишко работал из последних сил, дымясь не только выхлопом, но и щелями. Звук его почти заглухал, натужно все в нем дрожало, когда оседала корма и винт забуривался глубоко, лодка трудно взбиралась по откосу волны, а выбившись на гребень, на белую кипящую гору, мотор, бодро попукивая, бесстрашно катил ее снова вниз, в стремнины, и сердце то разбухало в груди, упиралось в горло, то кирпичом опадало аж в самый живот.

Но вот лодку перестало подымать на попа, бросать сверху

вниз, воду не заплескивало через борт, хотя нос еще нет-нет да и хлопался о волну, разбивая ее вдребезги. Аким расслабился, сморкнулся за борт поочередно из каждой ноздри, уместив ручку руля под мышкой, закурил и, жадно затянувшись, подмигнул нам. Коля свалился на подтоварник возле обитого жестью носа лодки, засунул голову под навес, накрылся брезентовой курткой, еще Акимовой телогрейкой и сделал вид, что заснул. Аким выплюнул криво сгоревшую на ветру цигарку, пододвинул к себе ногой с подтоварника черемши, сжевывая пучок стеблей, как бы даже заглатывал его, заткнуто крикнул:

– Ну как? Иссе на рыбалку поедем?

– Конечно! – отозвались мы, быть может, с излишней бодростью. Мокрый с головы до ног, сын пополз по лодке на карачках, привалился к Коле. Тот его нащупал рукой, притиснул к себе, попытался растянуть куцую телогрейку на двоих.

За кормой, за редко и круто вздымающимися волнами осталась речка Опариха, светлея разломом устья, кучерявясь облаками седоватых тальников, красной полоской шиповника, цветущего по бровке яра. Дальше смыкалась грядой, темнела уже ведомая нам и все-таки снова замкнутая в себе, отчужденная тайга. Белая бровка известкового камня и песка все резче отчеркивала суземные, отсюда кажущиеся недвижными леса и дальние перевалы от нас, от бушующего Енисея, и только бархатно-мягким всплеском трав по речному оподолью, в которых плутала, путалась и билась синенькой жилкой речка Опариха, смягчало даль, и много дней, вот уже и лет немало, только закрою глаза, возникает передо мной синенькая жилка, трепещущая на виске земли, и рядом с нею и за нею монолитная твердь тайги, сплавленной веками и на века.

# Не хватает сердца

*И сами боги не могут сделать бывшее небывшим.*

*Греческая пословица*

После всех этих занятных историй, после светлого праздника, подаренного нам светлой речкой Опарихой в самый раз вспомнить одну давнюю историю, для чего я чуть-чуть подзадержусь и вспомню былое, чтобы понятнее и виднее было, где мы жили и чего знавали, и почему так преуспели в движении к тому, о чем я уже рассказал и о чем еще рассказать предстоит.

Брат доживал последние дни. Муки его были так тяжелы, что мужество и терпение начали ему изменять. Он решил застрелиться, приготовил пулю, зарядил патрон в ружье и только ждал момента.

Мы почувствовали неладное, разрядили ружье и спрятали его на чердак. Наркотики, только наркотики, погружающие больного в тупое полузабытье, чуть избавляли его от страдания. Но где же найти наркотики в богоспасаемом поселке Чуш? Ночью, продираясь сквозь собачий лай и храп, вырывая себя, будто гвоздь из заплота, из пьяных рук мужичья и резвящихся парней, пробиралась в дом брата больничная сестра с бережно хранимым шприцем.

Переведя дух, бодро улыбаясь нам и брату, она открывала железную коробочку с ватой и шприцем, просила больного приобнажиться и делала «укольчик».

Винясь за что-то, сестра делала попытку еще раз улыбнуться, желала больному спокойной ночи и опадала в темный коридор заплотов, сараев, перемещалась от дома к дому, от двора ко двору. И по мере того как лай чушанской псарни удалялся, затихал и наконец совсем умолкал, мы все тоже успокаивались и с облегчением в сердце выдыхали – медсестра благополучно добралась до поселковой больницы, располагающейся в деревянном бараке образца тридцатых годов.

Но так было недолго – в Чуш на лето собирались бродяги всех морей и океанов, – эти ради шприца с наркотиком и на преступление пойдут. Взяв на сгиб руки топор, Аким, холостяк, бродяга и приключенец, провожал сестру до больницы и чуть было роман с нею не заимел – помешала занятость и болезнь брата.

Время шло. «Укольчик» действовал все слабее, и все

виноватее делалась улыбка сестрицы, аккуратно и самоотверженно идущей в ночь, в непогоду, чтобы исполнить почти уже бесполезную работу.

И тогда я решился ехать в ближний город, где жил мой товарищ, там жена его работала в райздравотделе и, пожалуй, могла достать нужное лекарство.

Уехал я не сразу.

Была середина лета. Переполненные норильскими трудящимися еще в Дудинке белые теплоходы проносились мимо Чуши. Северный богатенький люд двинул на отдых.

Наконец, один теплоход подвалил среди ночи к Чушанской пристани. Я отыскал вахтенного штурмана в нарядной кремовой рубашке, в форменном картузе, обсказал ему о том, как необходимо мне ехать, просил любое место, «хоть на палубе».

Штурман даже расхохотался, услышав про место на палубе. Сказалась психология прошлого – на палубе, на дровах и на мешках, в четвертом классе, ныне никто не ездил и самого этого «класса» давно не было.

Понявши, что все я погубил своим первобытным вежливым примитивизмом, я употребил крайнее, малонадежное средство и выскреб из-под корочек записной книжки тоненько слипшийся коричневый билет.

Разлепивши ногтем билет, на корочке которого тускло светились буквы «Союз писателей СССР», а в середке конопушками пропечатались сырые табачины – не курю уж который год, но табак все виден, во зараза! – штурман недоверчиво читал билет, потом еще более недоверчиво осматривал меня, сказал, что впервые в жизни держит в руках подобный документ и видит живого писателя. Я от такого внимания сперва смутился, потом приободрился и на вопрос, что лично мною написано, назвал две последние книги, напечатанные в Сибири. Штурман признался, что ничего моего не читал – некогда читать книги – навигация, но по радио слышал что-то. Бдительность в этих каторжных местах развита от веку, и штурман на всякий случай еще спросил: не родня ли мне Николай Васильевич Астафьев, работающий механиком на теплоходе «Калинников». Я сказал, что родня – это сын моего дяди, по прозвищу Сорока, убитого на войне. И пояснил, что хотел дать на «Калинников» телеграмму, но в поселке вышел из строя телеграф, ремонтники же, прибывшие на повреждение, неожиданно для себя и для всего народа загуляли.

Штурман задумался. Он решал какую-то трудную задачу и решить должен был быстро, теплоход, приткнувшийся к синему дебаркадеру, уже начинал отшвартовываться.

– Есть у нас одно место, но…

– Я освобожу его по первому требованию. Могу вообще не занимать место, на палубе постою…

– Посмотрели бы вы на себя! – вздохнул штурман. – Словом, едет в двухместной каюте один пассажир. Заплатил и едет. С удобствами. Богатый. Разницу мы ему выплатим. Только вы не мур-мур…

Штурман повел меня к окошечку кассы и ушел будить кассиршу.

Я настороженно слушал, как внизу подо мною вздыхают машины, как негромко и деловито звучат команды на капитанском мостике, напряженно следил за щелью, все шире и шире разделяющей теплоход и дебаркадер…

Проснулся я уже неподалеку от города, в котором надлежало мне высаживаться. Сквозь решетку деревянных жалюзи слабо и рифлено сочилось солнце.

У дверей каюты справный, но бледный телом мужик в плетеных белых трусиках, чуть отемненных в соединении и на поясе, старательно делал гимнастику.

– Доброе утро! – бодро заявил он не оборачиваясь. Я не сразу сообразил, что он видит меня во вделанное в двери зеркало.

– Хотел я скандальчик закатить, но… пассажир некурящий, к тому же писатель…

Говоря все это, он бодро, без одышки делал телодвижения. Вот начал наклоны туловища вперед, откидывая ко мне чуть зарифленый зад с туго подтянутыми в сахаристом материале трусов «причиндалами». Мне почему-то до нестерпимости захотелось дать физкультурнику ногой «под корму».

Долго, тщательно умывался хозяин каюты, еще дольше вытирался розовой махровой простыней, вертелся перед зеркалом, любуясь собой, поигрывая мускулами, раздвигая пальцем рот – чудился ему в зубах какой-то изъян или уж так гримасничать привык. Он выудил из-под стола бутылку коньяку, огромную рюмаху, напоминающую гусиное яйцо, плеснул в нее янтарно-коричневой жидкости и, держа посудину в пригоршне, отпил несколько мелких глотков, небрежно бросая при этом в рот оранжевые дольки апельсина.

Я глядел и дивовался: вот ведь выучился ж где-то культуре человек, а мы, из земли вышедшие, с земляным мурлом в ряды интеллигенции затесавшиеся, куда и на что годимся? Культурно покутить и то не хватает толку! Не умеем создать того шика, той непринужденной небрежности в гульбе, каковая свойственна людям утонченной воспитанности, как бы даже и утомленье имеющих от жизненных присыщений и благоденствия. Друзей-

приятелей моих во время столичных торжеств непременно стянет в один гостиничный номер. Курят, выражаются, пьют по очереди из единственного стакана, кто подогадливее полоскательницу из санузла принесет, выхлещут дорогой коньяк безо всякого чувства, сожрут апельсины иногда и не очистив, некогда потому что, орать надо насчет соцреализма о пагубных его последствиях на родную литературу вообще и на нас в частности. Так и не заметит, не вспомнит никто, какой напиток пили, у кого и за сколько его ночью покупали, каким фруктом закусывали.

Утром самые умные и храбрые пойдут на поклон к горничной, станут ей совать червонец – насвинячили в номере, последний стакан разбили, натюрморт спиной со стены сшибли.

Хозяин каюты начал неторопливо одеваться. Свежие носки, свежую рубашку, брюки из серой мягкой шерсти с белеющими, наподобие глистов, помочами – все это надеть-то – раз плюнуть, но он растянул удовольствие на полчаса. Обмахнув щеткой и без того чистые светло-коричневые, скорее даже красноватые туфли, подбриолинил на висках волосики, идущие в убыток, взбил пушок над обнажающейся розовенькой плешинкой, которая, понял я, была главным предметом беспокойства в его сегодняшней жизни.

Делая все это, он попивал коньячок и без умолку болтал, сообщив как бы между прочим, что едет в «загранку» с тургруппой министерства цветмета, что в Красноярске его ждут четверо соратников из управления. Отметив встречу в «Огнях» (ресторан «Огни Енисея» захудалого типа), он уже через какие-то дни будет в Париже: «Какие девочки в Париже, ай-яй-яй!»

– Не бывали в Париже? Жа-аль! Коньячку не желаете?…

– Я самогонку пью.

– Вы что так злы? Понятно, несчастье, понятно, устали. Вы и впрямь из сочинителей? Извините, по внешнему виду…

– Вы знаете, сколь я их ни встречал, сочинителей-то, они все сами на себя не похожи…

– Ха-ха-ха-ха! Ценю остроумие!..

– А при чем тут остроумие-то?

Он был чуткий, этот мужчина-юноша, к тому, что сулило ему неприятности, умел избегать их и перешел на доверительно-свойский тон:

– «Раковый корпус», «В круге первом» Солженицына читали?

– Нет, не читал.

– Да что вы?! – не поверил он. – Вам-то ведь доступно.

– Нет, недоступно.

– Ну, а…

– Я считаю унизительным для себя, бывшего солдата и

русского писателя, читать под одеялом, критиковать власти бабе на ушко, показывать фигушки в кармане, поэтому не пользуюсь никакими «Ну, а…», даже радио по ночам не слушаю.

– И напрасно! Глядишь, посвежели бы! Не впустую, стало быть, молвится, что литература отстает…

– От жизни?

– Хотя бы!

– В том-то и декрет жизни, юноша, что и отставая, она, холера такая, все равно чего-нибудь да обгоняет…

«Парижанин» утомился, я отвернулся и стал глазеть в окошко – всю-то зимушку это, нами новорожденное существо таскало крадучись, денежки в сберкассу, от жены две-три прогрессивки «парижанин» ужучил, начальство на приписках нажег, полярные надбавки зажилил, лишив и без того подслеповатого, хилого северного ребенка своего жиров и витаминов. По зернышку клевал сладострастник зимою, чтоб летом сотворить себе «роскошную жизнь».

И сотворил! Горсть карамелек по столу нечаянно разбросана, апельсинчик звездой разрезан, «цветок засохший, безуханный», валяется, позолоченная штука, которой что-то и где-то ковыряют, блестит, бутылка заткнута безутечной пробкой, чтобы питье аромата не теряло. Рюмки не стоят – на боку лежат. Коньяк из них следует не лакать, не хлестать, а высасывать, как сырое яйцо. Меня бы и стошнило, небось, баринок же этот, советский ничего, привычен. Во какие у нас в стране достижения! Во к каким вершинам интеллекта мы подвинулись!

Где-то, поди-ко, был или еще и есть в этом самозабвенно себя и свои культурные достижения любящем человеке тот, который строем ходил в пионерлагере и взухивал: «Мы – пионеры, дети рабочих!..», потом тянул на картошке, моркошке да на стипендии в политехе; где-то ж в костромской или архангельской полуистлевшей деревне, а то и на окраине рабочего поселка с названием Затонный доживает или дожила свой век его блеклая, тихая мать либо сестра-брошенка с ребятишками от разных мужиков – жизнь положившие на то, чтоб хоть младшенького выучить, чтоб он «человеком стал».

Такие уже на похороны не ходят, не ездят. Зажжет интеллектуал свечу негасимую перед «маминой» иконой, то есть из родной деревни вывезенной, с разрешения жены напьется и церковную музыку в записи послушает, скупую слезу на рубаху уронит. Ложась спать, тоскливо всхлипнет: «Э-э-эх, жизнь, в рот ей коптящую норильскую трубу… Отпеть маман просила, да где она, церковь-то, на этой вечной мертвой мерзлоте?…»

– Веки вечные кто-нибудь от кого-нибудь отстанет, значит,

есть кого и чего догонять. Раз так, общество не слабнет. Вы же слышали: заяц вымирает, если никто его не гоняет, – продолжил умственный разговор все еще куда-то снаряжающийся, все еще чего-то на себе подживляющий хозяин каюты.

– Потрясающее открытие. Может, не самая лучшая, но самая лукавая за все разумные времена литература не хочет никого обгонять по простой причине, чтоб не показать голого заду.

– А вы – диалектик?

– Еще какой! Я ее, диалектику-то, воистину не по Гегелю, я ее по речам родного отца и учителя постигал. Здесь вот, – постучал я пяткой в пол теплохода, – на берегах родной реки, юноша, на практике осуществлялся его клич: «Самое ценное для нас кадры!» Заметьте, юноша: не люди, не человеки, а ка-адры! Да уж где-где, но в вашем-то городе солнца эта диалектика получала самое яркое осуществление…

Юноша-мужчина покрылся серостью, румянчик его разом зажух. Он засуетился, захлопал себя по карманам и стриганул вроде бы чего-то искать. Этот закроет амбразуры, недозакрытые нами! Этот заступится за друга, за соседа! Этот перестроит мир!..

Явился мой сосед снова жизнерадостный, бодрый, освеженный енисейскими ветрами. Из-под подушки он выудил маленькую кинокамеру с пулеметным дульцем, пожужжал ею в растворенное окно и, тяготясь молчанием, предложил сходить в салон-ресторан: «Меню там, правда…» Я ответил, что на ресторан у меня денег нет и потерплю я до пристани назначения, там у друга огород свой, картошки не покупные.

– Н-ну, так уж и нету. Вон, говорят, у Шолохова миллион!

– У вас, юноша, неточная информация! Миллионы – это у детективщиков, например у Василия Ардаматского.

– Ардаматский? Ардаматский? Что он написал?

– «Путь Абая».

– А-а! Да-да. Переводной роман. Я вообще-то предпочитаю иностранную литературу. Французскую в частности. Балуюсь языком. Кесь-ке-сю, месье? – сверкнул он начищенными зубами.

– Как затянет месье Будервиль – да родную лучину. Как пойдет отбивать трепака – Петипа!..

– Вознесенский?

– Как это вы угадали?

– Ритмика энергичная. И пафос! Пафос!

– Да-а, по пафосу он у нас действительно. Еще Евтушенко мастак по пафосу! Так и рвет рубахи на грудях! На чужих, правда. Здоровый малый.

– Вы знакомы?

– Не сподобил бог.

Тучнеющий, несмотря на гимнастики, юноша-мужчина упорхнул на палубу, резво пробежал мимо окна с выводком девиц, жужжа кинокамерой. На бегу же он просунул руку в окно за бутылкой, сгреб в горсть два апельсинчика. С палубы послышались возгласы, щебет и даже рукоплескание.

Несколько разморенный коньячком и весельем, сосед мой вернулся в каюту, прилег на подушку, полуприкрыл глаза. У меня постель уже изъяли, при этом горничная долго не могла найти полотенца, которым я так и не воспользовался. Свернутое пластинкой, оно завалилось за спинку дивана. Пока горничная возилась, искала полотенце, подозрительно на меня взглядывала, я вспоминал, как в Свердловске знакомый литератор свалился с четвертого этажа в пролет лестницы, угодил задом на решетчатую скамью, побил ее в щепки, сам при этом даже царапины не получил, даже бутылка коньяка в боковом кармане сохранилась, первая мысль у него была земна и до удивления обыденна: «Вот, еще и за скамейку платить придется…»

Моя мысль тоже вертелась вокруг полотенца, за которое я готов был заплатить хоть в пятеро больше, чтобы штурман-добряк не получил нагоняй: «Пускаешь кого попало в классы!» Сосед же мой до самого Парижа-Атаманова (есть такая пристань ниже Красноярска – рядом с какой-то атомной заразой оздоровляются норильские дети в пионерлагерях и нежатся, набираются сил северные «парижане»), так вот, млея от сладострастия, станет мой «парижанин» до самого Атаманова вопрошать: «Хейли, Апдайк сопрет полотенце!»

Мимо окон раз-другой белогрудой ласточкой пролетела девица с надменным поворотом головы и треплющимися по ветру волосами, оживленно хохоча. Всякий раз при ее мелькании мимо окна вздрагивали веки моего соседа и плотоядно заваливались вглубь бледнеющие крылышки непородистого носа.

Да-а, крепко я помешал компании норильских интеллигентов культурно отдыхать, крепко!

– Послушайте, юноша! Вот за этим мысом будет остров, потом еще остров, потом заворот в протоку, и я с вами распрощаюсь, извинившись за неудобства вам доставленные. Но я хотел бы задать вам один вопрос взамен многих вами заданных: вы мне все рассказывали о роскошной жизни в Норильске, о розариях, о бассейнах, о заработках, о фруктах, везомых по воде и несомых по воздуху, даже о французской туалетной бумаге с возбуждающими картинками, но вот о городе, о самой-то его истории – ни звука…

Не отрывая глаз, все так же развалисто дыша, юноша-мужчина пожал плечами:

– Разве есть у него история?

Все! Больше ни слова. Есть город Норильск, где венчался, то есть в горзагсе расписался премьер-министр Канады Трюдо, капризам которого надо потакать. У Трюдо надо выпрашивать хлебушек, пусть и за золото. Это вам не советский колхозник, у которого можно забрать все и ничего ему не давать. Трюдо увидел город фонтанов, дворцов, монументов, город трудной, но высокооплачиваемой жизни, город, к которому, минуя сотни поселков и старых приенисейских полуголодных городишек, современные транспортные средства мчат все самое вкусное, модное. Но есть город, о котором не хочет знать и думать этот вот, перенасыщенный информацией, современный строитель передового общества, презирающий литературу «за отставание от жизни», в которой и впрямь больше говорят, постановляют, рукоплещут, пляшут, пьют и поют, чем пишут.

Все так, все так. Но этот сотворитель современной жизни и светлого будущего «прошел» в школе, «сдал» в политехе и прошлую нашу блистательную литературу. Все прошел, все постиг, что ему нужно для удобства жизни.

История ж его города неудобна, груба. От нее может голова разболеться, от нее задумываться начнешь. А вот задумываться-то этот сладострастник и не хочет. Зачем? Он ждет в каюту ласточку-красотулю, а я тут «с историей».

Да с какой историей!

Мы, трое парнишек, папа и ссыльнопоселенец по фамилии Высотин рыбалили на Енисее, возле Демьянова Ключа, что в полсотне верст выше по реке от города Игарки, и вскоре после середины лета нас обокрали. В тайге, где на избушке, построенной в начале тридцатых годов связистами, ведшими линию в Заполярье, нет даже петли для замка по причине отсутствий лихих людей, – и обокрали.

Судя по тому, что унесено было все съестное, ружья с патронами и кое-что из одежонки, не составляло труда уяснить – сделали кражу норильцы. «Норильцами» тогда называли беглецов из тундры, строивших там город под незнакомым и мало кому известным названием – Норильск. Строители проводили самую северную железную дорогу – от Дудинки до будущего города. Дорога эта тут же возникла на всех географических картах. Во всех школах все учителя и все ученики охотно тыкали в нее пальцем и с таким чувством говорили о ней, будто сами ее строили. Больше же ни о чем не знали и знать не хотели.

На север с весны до поздней осени беспрерывным потоком шли караваны барж, с оборудованием, машинами, харчами и живым грузом. Слово ЗЭК появилось потом, тогда же их

деликатно именовали переселенцами, спецконтингентом, вербованными, подконвойными и еще как-то витиевато и секретно. Возили арестантов насыпью в трюмах пароходов и в баржах. Енисей на севере – штормовая река, но конвой, если совсем трусливый и подлый, не открывал трюмы, и, достигнув Дудинки, живые люди сгружались на берег с таким облегчением и радостью, будто достигли земли обетованной, новую Америку обживать приехали.

По северу ползли слухи один страшнее другого, однако, время было воистину такое, когда словам: «Не верь своим глазам, верь нашей совести» – внимали с детской доверительностью.

Но не бывает дыма без огня и огня без дыма! Вслед за слухами о норильцах поползли и сами норильцы. Шли они сначала открыто и только по берегу Енисея, оборванные, заросшие, до корост съеденные комарами, кашляющие от простуды, с ввалившимися от голода глазами. Упорно, стоически шли и шли они вверх по реке, питаясь тем, что добудут в тайге, и подаяниями рыбаков, охотников, встречных людей. Города и крупные поселки обходили, насилий, воровства и грабежа избегали. Еще действовал древний, никем неписанный закон Сибири: «Беглого и бродяжьего люда не пытать, а питать».

В тридцать седьмом году мудрое карательное начальство приняло меры: за поимку и выдачу беглого норильца – сто рублей премии или поощрения, так туманно именовались воистину Иудины серебреники.

Спецпереселенцы, коренные промысловики и прежде всего староверы не «клюнули» на тухлого заглотыша, они в таежных теснинах, ссылках и казематах постигали суровые, но неизбежные законы мало защищенной земли. Однако вербованные людишки, падкие на дармовщину, развращенные уже всякого рода подачками, а также наивные северные народы – долгане, нганасаны, селькупы, кето, эвенки, – не ведая, что творят, стали вылавливать «врагов народа» и доставлять их на военные караульные посты, выставленные в устье глубоких речек.

Озверелые от тоски, вшей и волчьего житья в землянках, постовые конвойники и патрули жестоко избивали пойманных и возвращали на «объекты», где скорым судом им добавлялось пять лет за побег, а герои энкавэдэшных служб вместе с падкими на вино полудикими инородцами пили до зеленых соплей на деньги дуриком доставшиеся, – вино было дешевое, время бездумное, энтузиазму полное.

В середине лета по тихому Енисею плыл плотик, на нем стоял крест, ко кресту, как Иисус Христос, был прибит ржавыми гвоздями тощий, нагой мужичонка. На груди его висела фанерка,

на фанерке химическим карандашом нацарапано: «Погиб пижон за сто рублей, кто хочет больше?»

Это был вызов. Война. От селения к селению, от станка к станку ползло: «Вырезали семью долган на острове Тальничном»; «изнасиловали девку и грудя отрезали», «живьем сожгли в избушке – баканишка с женой, отстреливался»; «вышла ватага норильцев на Игарку с винтовками, даже с пулеметами, обложили город, чего-то ждут».

Деревушки и станки, рыбацкие бригады вооружались, крепили запоры, детей перестали пускать одних в лес, женщины ходили на сенокос и по ягоды партиями.

Слухи, слухи! Горазда на них наша земля, однако не очень им пока верили.

Но вот наша избушка в устье Демьянова Ключа и лихоимство в ней совершенное, по здешним местам неслыханное. Накладку и петлю в кузнице станка Полой мужики сковали, висячий замок в магазине приобрели. И стала таежная избушка уже не просто таежной, но потайной, человеком от человека спрятанной. Однако замок-то не от лесного варначья – от своих людей защита…

На исходе лета, как всегда недоспавшие, вялые, мы поднялись в четыре утра, чтобы плыть на сети. Зябко ежась, потянулись один по одному из избушки. Было светло. Ночи еще только начинались, стремительные, темные, августовские. Ударил первый иней. Все оцепенело вокруг. На белом крыльце избушки начищенными пятаками лежали желтые листья. За избушкой, в кедрачах, звонко, по-весеннему токовал глухарь. Стукаясь о стволы дерев, падали последние позмерзлые кедровые шишки; по всей округе озабоченно кричали кедровики, с озер доносился тоскливый стон гагары, собирающейся в отлет.

Первые проблески длинной осени, первое холодное дыхание коснулось тайги, заплыло в ее гущи – скоро конец нашей рыбалке.

Послышался чей-то короткий окрик, я думал, папа решил меня подшевелить, заспешил вниз по тропе к берегу и увидел встречь идущих Высотина, папу, увидел и отчего-то не сразу почувствовал неладное, со сна его не воспринял, не испугался. Папа и Высотин у лодки должны быть, собирать весла, багор, иголки для упочинки сетей, запасные якорницы и всякое добро и приспособление. Кто-то, видать, заплыл или завернул к нам, вот они и вернулись. Отчего-то, правда, растерянно крупное лицо Высотина. Папа в дождевике, полы которого касались земли, мели по мху и по траве, оставляя процарапанную в инее полосу, суетливая походка его как бы подсечена, замедлена – вроде бы он

не идет, только дождевик двигается скоробленно, мерзло пошуркивая.

Папа, уставившись в пространство и не моргая, прошел мимо, ни слова мне не сказав. С похмелья бывает такой сердитый и отстраненный мой родитель. Я даже отступил с тропы, пропуская его. Следом за Высотиным и отцом шли двое. Молодой еще мужик, с исцарапанным, щербатым лицом, кустики бровей над светлыми его слезящимися глазами ссохлись от крови. Весь его драный, затасканный облик и различимая под царапинами оспяная щербатость придавали ему свирепый вид. Однако у него была длинная, беззащитная мальчишеская шея, глаза цвета вешней травы, смешные кустики бровей, расползающиеся губы в угольно-черных коростах – все-все говорило о покладистости, может, даже и о мягкости характера этого человека.

Но именно он, этот парень, держал наперевес одноствольный дробовик со взведенным курком. За ним, хлопая отрепьем грязных портянок, вылезших из пробитых рыбацких бродней, спешил мужик с грязно спутанной бородой, похожей на банную мочалку, которую пора выбросить из обихода. Глаза его сверкнули из серого спутанного волосья, забитого мушками, комарами и остатками какой-то еды, скорее всего шелухой кедровых орехов. Он давил обувью тропу, внаклон гнал себя в гору, но ускорения у него не получалось – изнурился человек.

Что-то во мне толкнулось и тут же оборвалось, свинцовым грузилом упало на дно: «Норильцы!»

Я недоверчиво осмотрел вытянувшуюся по тропе артель – сзади всех шел Мишка Высотин и почему-то улыбался. Загадочно. Всмотревшись, я обнаружил: улыбка остановилась на Мишкином лице, и ничего у него не шевелится, ни губы, ни глаза, ни ресницы, ноги тащатся сами собой и тащат его, но он их не слышит и не знает, шагает ли, плывет ли.

Тут я почувствовал, что тоже начинаю улыбаться неизвестно чему и кому, однако шевельнуться не могу. Но тот, с бородою, пройдя мимо меня, обернулся, махнул рукой и обыденно, по-домашнему позвал:

– Давай, давай! Избушку, малый, не запирай! – крикнул он Петьке, совавшему дужку замка в петлю. Никак туда не попадал он. Петька отступил от двери с замком в одной руке и с ключом в другой, понурился – небось, ему казалось: если б он успел замкнуть избушку, никто бы в нее не сунулся.

Возле крыльца, руки по швам, стояли уже Высотин и отец. Щербатый, теперь заметно сделалось, недавно бритый парень, отчего лицо его там, где ничего не росло – на носу, по низу лба и на щеках, – было дублено, почти черно; где брито – все в бледном

накате. Он встал в отдалении против дверей. Курок у ружья был совсем маленький, откинутый назад – ружье старое, разбитое – чуть давни на собачку и…

Мне стало совсем страшно, так страшно, что все последующее я помню уже плохо и немо. Как будто в глубину воды погрузило меня и закружило на одном месте. Петька теперь уже в руках терзает замок; засунет дужку в щель – замок щелкнет, ключ повернет – замок откроется. Высотин по команде смирно стоит – большой, несуразный; Мишка все улыбается; папа силится что-то мучительно вспомнить, например, любимое пьяное изречение: «Всем господам по сапогам, нам по валенкам».

Бородатый мужик, заметая наши следы лохмами портянок, вскакивает на белое крыльцо, выхватывает у Петьки замок и кидает его в щепу, накопившуюся возле избушки и протыканную иголками подмерзшей травы. Петька пятится, вот-вот упадет с крыльца, Высотин подхватывает его сзади, поддерживает. Дверь избушки широко распахнута. «Выстынет же», – хочется сказать мне. В избушке шарится чужой человек. Мы стоим подле дверей, и все та же вялая мыслишка: «Ну выстудит же, выпустит тепло!» – шевелится в моей голове. Бородатый выходит на крыльцо, обращается как Пугачев к народу, он чем-то и похож на Пугачева.

– Ружье где? Хлеб?

– Обокрали нас. Ружья унесли, – отвечает четко и внятно папа.

– За хлебом не успели сплавать, – поддерживает его Высотин.

«Что говорит Высотин? Что говорит… Если они поднимутся на чердак? Хлеб у нас там! Он забыл! Забыл! Исказнят!» Тянет исправить ошибку старших, показать чердак. Но мы уже не маленькие – раз Высотин сказал, значит, надеется на нас.

– Весь хлеб на столе, – добавляет Высотин, а на столе у нас осталось полбулки хлеба, закрытого берестой.

Бородатый знаком показывает всем следовать в избушку. Входим. Чинно, будто чужие, рассаживаемся на нарах: мужики – на высотинские нары, мы, ребятишки, втроем – на наши. В избушке притемнено и не так заметно Мишкину улыбку, постепенно превратившуюся в судорогу. Тяжелее и тяжелее делается у него челюсть. Оттягивает и перекашивает в сторону лицо парнишки. Сидим, праздно болтаем ногами. Петька, опершись руками о нары, готовый в любое мгновение вскочить, куда-то броситься, что-то делать.

– Нам на сети пора. Мы ведь на работе, – почему-то гнусаво завел отец. – Говорите, чего вам надо?

– Закурить хотим! – в дверях появляется щербатый парень, прислоняет к косяку ружье взведенное.

Отец протягивает ему кисет.

– Вы что же это? Своего брата?… – качает он головой.

Бородатый сломал уже несколько спичек.

– Волк – брат! – выхаркнул он из бороды вместе с дымом, цигарка, спешно скрученная, мокрая, расклеивается у него во рту, по бороде потек табак.

Парень, оседлав порог, тоже торопливо закуривает, но цигарку делает толково, туго. И видя, что его связчик цигарку свою совсем загубил, отдал ему свою, себе склеил другую, после чего высыпал в карман из кисета весь табак и молча возвратил кисет отцу, зажав в кулак коробок со спичками.

– Еще махорка есть?

Будто по команде мы вскидываем головы – над нашими с папой нарами, на стене висит белый, удавкою перехваченный мешочек – в нем спички, махорка.

– Сними! – приказывает бородатый Петьке. Парнишка, словно харюзок вынырнул из темной воды, схватил белый поплавочек, рванул веревочку-леску с гвоздя.

Щербатый парень не глядя бросил мешочек с табаком в свой холщевый затасканный мешок с веревками, приделанными вместо лямок.

– Разувайся! – приказал бородатый Высотину, и тот неловко начал утягивать ноги, обутые в новые резиновые сапоги, под нары.

– Да что вы, ребята! Мы ж рыбачим… Мне ж…

– Разувайся! – вдруг замахнулся и ткнул в грудь Высотина бородатый. Петька отшатнулся и взвыл:

– Тя-а-а-а-тяаа!..

Как бы разбив своим выпадом некую, еще существовавшую до сей минуты неловкость, сковывающую его, матерясь в бороду, скаля зубы, бородатый заметался по избушке, принялся разбрасывать постеленки наши, залез под нары, выгреб щепу и крошки сена оттуда, с вешалки Петькину телогрейку рванул, потянул на себя – не лезет, скомкал, бросил, выскреб штаны, рубаху из изголовья нашей постели, быстро на себя натянул, стоял над кучей брошенного на пол тряпья, нетерпеливо перебирая грязными ногами, заранее радующимися теплой сухой обуви.

– Ну!

Высотин бросил к ногам бородатого сначала один, затем другой сапог.

– Подавись! – громко, с пробудившейся ненавистью, сказал он, и папа, битый жизнью и людьми больше, чем Высотин, тут же попытался сгладить эту грубость, что-то забормотал

примирительное, взялся помогать мне растоплять печку, а что ее не растопить, нашу печку?! Дрова, как порох, бересты сколько угодно, загудела печка, заподпрыгивала. Оба норильца потянулись к ней.

– Портянки!

Высотин размотал портянки и остался на нарах, большой, весь босый, хотя с него сняли покуда всего лишь сапоги и портянки, казался он донага разутым и раздетым. Костистые большие ноги его, вдоль и наискосок перепоясанные бледно-голубыми жилами, выглядели сиротливо, жалко. Бородатый прямо средь избушки сел на пол и с пыхтением обувался. Поднявшись, он пробно потоптался, как дитя, радуясь обнове, притопнул, оскалился, и снова сверкнуло в бороде, зубы у него были молодые, еще не разрушенные, значит, на севере недавно, оцинжать не успел.

– Ну, че? Все? Боле у нас брать нечего. Нам на сети надо.

– Не гомони, мужик, сядь! – взяв ружье и устроив его на колени, спокойно приказал щербатый парень Высотину. – Велите одному малому принести рыбы, другому – дров, третьему – раскочегарить печку. Самим сидеть и не рыпаться! Я не конвоир, предупредительных выстрелов не даю.

– Печка топится. И не стращай девку м… ми, она х… видала! – рыкнул Высотин.

– Хэ, посказитель какой!

– И храбрец… Его бы в Норильск, в забой.

Петька-олух выбрал из бочки, вкопанной в берег, самую отборную, желтым соком исходящую стерлядь, чем привел в неописуемое бешенство бородатого.

– Что за рыба?! Кто такую падлу жрет! Вся в колючках!

– Уймись! – вскинул руку его сопутник. – Нет ли, мужики, щуки, налима?

– Этого добра навалом!

Петька примчал соленого налимища и осторылую, величиной с полено щучину, с тряпично болтающимся выпоротым брюхом.

– Вот это жарево! – потирали довольно руки норильцы. – Это привычно. Жиру бы в нее?

– Будет и жир, только рыбий.

– Это еще лучше. Слепнуть от мошки начал. Доходим.

– И дойдете. Куды-нибудь…

Они едва дождались чтоб прокипело в противне. Ели рыбу полусырую, неотмоченную от соли. Ели, да что там ели – жадно глотали куски рыбы, парень держал ружье со взведенным курком меж колен, и дуло, когда он клонился к столу, утыкалось ему в

подбородок, я, да, поди-ко не один я, все наши ждали и боялись: вот-вот жахнет и разнесет башку парню вместе с непрожеванной рыбой. Ну, тогда бородатому не жить. Высотин одной рукой его задушит.

Брызнул на печке чайник, наш ведерный закопченный работяга, радостно посикал рожком.

– Давайте и мы чай пить, раз такое дело! – произнес Высотин. Надернув опорки, в которых ходили мы после сетей по избе и до ветру, снял с гвоздей кружки и хозяйничал возле стола, словно бы и не замечая никого рядом.

– А ну-ка подвиньтесь, гости дорогие!

– Водочки б к такой-то жарехе! – промычал осоловевший от еды бородатый норилец.

– И бабу наверхосытку! – хитро сощурясь, подхватил мой папа, большой специалист в этом вопросе, и решительно налил полную кружку чаю.

– А че… А че… – не в силах выговорить ни слова от хохота, обрадовались норильцы, но кашель перешел в грудной хрип, и гости начали сморкаться и харкать на пол.

Высотин сморщился – в избушке у нас всегда было чисто.

– В Полое, – кивнул на окно папа.

Норильцы вопросительно уставились на него.

– И бабы, и вино в Полое, говорю, если озадиться, осадить назад в Карасино, тоже найдете.

– Там еще есть сельсовет, энкавэдэшники. Ишь ты, гадюка! – погрозил папе пальцем бородатый норилец.

– Не в Карасино, не в Полое, так в другом месте все равно нарветесь, – угрюмо и уже спокойно заключил Высотин и как бы ненароком внимательно посмотрел в окно.

– Че? – вскочил норилец с ружьем. – Че там?

– Да пока ничего…

– А-а, в рот и в… – заругались норильцы, торопясь уходить.

Сбросав недоеденную рыбу в мятый жестяной котел, остатки хлеба, спросив, где соль, насыпали ее и, наказав нам два часа не выходить из избушки – у них тут товарищи по кустам сидят, – торопливо заспешили в поход…

Мы побросали вшивое тряпье и разбитые бредни норильцев в печку. Из трубы повалил жирный дым, в избушке сделалось душно. В большой кружок и в щели печки выбрасывало чадный запах.

Петька нашел в траве, все еще ломкой от инея, замок и ключ. Мы заперли избушку и спустились к лодке. Высотин в опорках был похож на какую-то нелепую, начатую с ног, но недощипанную птаху. Мужики прятали от нас и друг от дружки глаза, молча

спихнули нашу ходкую и легкую лодку, на бортах и на дне которой уже отмяк и потемнел иней. Навесили лопашни, подколотили уключины. Проверив, все ли взяли, молча же, не глядя друг на друга, по реке, с ночи усмирелой и какой-то отчужденной, холодной, с вроде бы отдалившейся от воды белесой землей, медленно плыли мы от берега.

Отплыли мы далеко, когда сделалось видно: по вдавшемуся в Енисей песчаному мысу двигаются две человеческие фигурки, медленно удаляясь. Но вот на горизонте замаячил катерок или пароходишко, фигурки людей замерли и тут же исчезли в прибрежных тальниках.

… Появился у нас крючок на двери избушки, кованый, зацепистый.

Дождливой сентябрьской ночью, когда все вокруг лежало в тяжелой бездонной тьме и только печка в нашей избушке разухабисто ухала, будто играючи одолевала подъем в гору, дверь нашей избушки дернулась и в петле шевельнулся железный крючок.

Мужики рассказывали всякую всячину. Высотин много знал сказок. И что-то как раз жуткое да чудовищное повествовал нам, парнишкам, – мы и орехи перестали щелкать со страху.

Все разом мы уставились на дверь, против которой мелькало огнем устье за лето изгорелой железной печки. И не только крючок, но и темные росчерки щелей было отчетливо видно.

Крючок еще раз слабо дернулся, подпрыгнул в петле, но был он ловко загнут – из петли не выскочил.

– Кто? – вполголоса спросили мужики, вытаскивая из-под изголовий топоры, парнишки схватились за ножи – так уж у нас уговорено было: если еще раз сунутся норильцы, мужики становятся по бокам дверей, мы приседаем на пол, и пусть они входят в темную избушку, сколько бы их ни было – мясо сделаем!

За дверью не отвечали и не шевелились.

– Кто? – уже громче повторил Высотин и помаячил нам, чтоб мы не швыркали носами. Конечно же, мы и без того не дышали, и мне да и Петьке с Мишкой, наверное, от задержанного в груди дыхания нестерпимо захотелось закашлять, кашель поднимался все выше, подходил к самому горлу.

– Пустите, пожалуйста, люди добрые! – послышался за дверью тихий голос, в глуби которого угадывались напряженность и тревога, а по верху скользило вековечное страдание бездомной души.

– Кто ты?

– Беглый я.

– Час от часу не легче!

В печке ворохнулись, рассыпались, затрещали головни. Избушка погрузилась в полутьму, сделалось слышно дождь за стенами, дребезжание составного стеколка в окне.

«Окно! Нас застрелят в окно!»

Печка оживала, начинала махать желтеньким платком из дырявой дверцы, обрастать горящими травинками по бокам и трубе.

– Надо печку залить! – прошептал Мишка и стал подкрадываться к чайнику, стоящему на краю печки, распространяющему горьковатый прелый запах шипичных корней, смородинника и зверобоя. На пути к печке Мишку перехватил отец, засунув его себе за спину, в темень, и, как бы ненароком задев о сухую лиственничную стену топором, грубо и в то же время просительно бросил:

– Уходи давай! Уходи!..

– Пустите, добрые люди. Пропадаю, – отчетливо и совсем близко произнес беглый с тем спокойствием, с той горечью в голосе, какая дается лишь людям, и на самом деле пребывающим на краю гибели, либо великим артистам. Может, беглый и есть артист? Черт его знает – их там в Норильске, сказывают, всякой твари по паре.

– Не открывай! – прошелестело разом из трех ребячьих одеревенелых ртов.

Но кто же слушает ребят, тем более в таком крайнем положении!

– У нас уже побывали гости, обчистили, обсняли. Нечего брать… – подал голос мой папа, и в голосе послышалось мне колебание и неуверенность.

– Ходите тут! – поддержал его еще более неуверенным голосом Высотин. – Сколько вас там?

– Один я. Один! – голос беглого слышался где-то внизу, и не сразу, но мы сообразили, что он от дверной скобы сполз на доски крыльца и лежит под дверью. – Не граб… Не граблю я… не мародерничаю… – голос рвался. – Миром и богом спасаюсь…

– М-мм-ироm, – слабо буркнул Высотин, – знаем мы теперь, каким миром-то!.. – Высотину казалось, должно быть, что говорит он тихо, себе под нос. Но тот, за дверью, был чуток, расслышал все и что-то хотел возразить, да вдруг разразился долгим, затяжным кашлем, и колени, сапоги ли, может, и голова бились, стучали об дверь. Кашель перешел в хрип, сиплое удушение. Стараясь наладить дыхание, сделать уверенным голос, беглый посулился за дверью:

– Я не х-хэ… их-хэ… ух-д… кх-харр… – он отхаркнулся и все еще хрипло, но уже отчетливей сказал, преодолевая одышку: – Не

уйду, я на чердак, подожгу. Нет выхода…

На чердак! А на чердаке-то мешок с хлебом, кедровый орех насыпью и в бочках. Крыша сухая, слеги сухие, береста ворохами запасена, корья полно. Окошко в избушке узкое. Дверь подопрет злодей, не выскочить. Мы, парнишки, может, и… А мужики…

Беглый не торопил нас, давал время обдумать его угрозу, взвесить все. Высотин мотнул головой, отец подвинулся к двери, взялся за крючок. Высотин, распластавшись по стене за косяком, поднял топор.

Вот тогда я до глубины души осознал часто встречающиеся в книгах слова: «Секунды показались вечностью…» Пока отец вынимал крючок из петли, во мне до того все напряглось, что где-то в ушах или выше ушей тонко зазвенело, звон становился все гуще, все пронзительней, будто погружался я без сопротивления и воли в водяную беспробудную глубь.

Вынув крючок из петли, отец, как драгоценность, без стука и звяка опустил его на косяк, вдруг изо всей силы пнул дверь и отпрянул в сторону, тоже приподняв блеснувший в темноте топор.

С улицы дохнуло дождливой холодной мутью, устойчивым духом мокрой кедровой хвои и запревающего палого листа.

В проеме двери никто не появлялся. Было пусто, безгласно, недвижно во дворе, и только, воедино соединенная, шепталась беспокойная тайга под ветром, полосами хлестало в стены, дождь лился с желобков тесовой крыши в выбитые и уже полные от капель канавки вдоль завалины избушки. Но звуки струй, слитный шум леса, шорох затяжного дождя, смывающего с деревьев листья, стук капели, падающей с крыши, нам привычны, как привычна бывает тишина в своей обжитой избе, они не мешали нам слышать и узнавать всякое другое движение, даже малейший треск и шорох в ночи.

– Не дурите, мужики, – раздалось под дверью, – уберите топоры…

Я крепче сжал деревянную круглую ручку ножа, хотя не знал еще, как это я могу им пластануть человека, если он нападет на меня, почувствовал, что остальные обитатели избушки сжали оружие свое, хотя, как и я, тоже не ведали – посмеют ли рубануть или ткнуть человека, надеялись, что это получится как-то само собой.

На пороге избушки возникло что-то лохматое, темное, перевалилось через преграду, поползло к печи, упало со стоном, с подвыванием возле нее и лишь какое-то время спустя выдало звук.

– За… за… закройте!

Беглый просил закрыть дверь, значит, и в самом деле был один. Закрыли двери, зажгли лампу, подбросили дров в печь.

Возле печки хохлился серой, полуощипанной вороной человек, почти обнявший железную коробку, почти упавший грудью на плоский ее верх. На лиходея он не походил совсем. Под беглецом скопилась и потекла к порогу избушки лужа. От ремков беглеца, от серой матерчатой шапки, даже от волосьев, затянувших лицо, валил пар. Реже, реже, но все еще звучно выстукивали зубы. Не сразу, не вдруг приходил в себя гость; и первое, что увидел и услышал, – чайник, сипящий на печке. Он прижал к чайнику ладони, но кипятку попросить не смел. Не знаю от чего – от жеста ли этого просительного и жалкого, от рванья ли нищенского, от жалости ли моей природной – пропали во мне страх и злость. Я сунул ножик под постель, взял кружку со стола и, сторонясь беглеца, стал цедить чай из рожка обгорелого чайника.

И пока лилась горячая струя в кружку, беглец не сводил с посудины глаз, а я с него, но разглядеть особенно ничего не мог, лишь большой мокрый нос, как бы отделившийся голым утесом от загустелого чернолесья, крупные, в кистях худые руки да мертвецки усталые, то и дело смежающиеся, воспаленные, иссеченные ветрами зеницы, не глаза, а именно зеницы, как на старой иконе, глубоко завалившиеся в копотную темь.

Я думал, он выхватит у меня кружку, расплескает чай. Но беглец обхватил посудину, будто цыпушку, ладонями и, что-то угадав во мне или поощренный моим поступком, поскреб друг об дружку губами, сплошь покрытыми трещинами и болячками.

– Хлебца!

Я взял со стола краюшку хлеба, заглянул в прикрытый берестой противень – в нем еще оставались хрящи от стерляжьей головы, крылья, рыбье крошево, да и жижа не была вымакана кусками – из-за дождя и ветра на сети мы не выплывали уже два дня, и аппетит наш поубавился.

«Везет дяденьке!» – отметил я про себя и отнес еду к порогу, сунул поднос беглому как бы недовольно и в то же время думая: так ведь у порога-то нищим подают. Мне отчего-то сделалось неловко, но беглому было не до чувствий и не до условностей.

– Храни тебя бог, дитя, – молвил он и, рванув зубами кус хлеба, шатнулся, застонал. Коркой поранило ему губы, окровенило десны, догадался я и подал гостю деревянную ложку. Он бережно заприхлебывал жижицу из противня, покрошил туда хлебца, запохрустывал стерляжьими хрящиками.

Ни взглядом, ни словом не осуждали меня мои соартельщики. Они сидели по нарам молча и праздно.

Пришелец быстро справился с едой, сделался совсем недвижим; сидел все так же на кукорках, горбясь у печи, он казался безногим.

– Спасибо, добрые люди! – наконец послышалось от печки.

Мы вздрогнули и пошевелились. Нам казалось, что беглец уснул.

– Не бойтесь меня. Я мирный человек, хотя и был военным.

– И ты нас не бойся. Ложись где-нибудь и спи. Ребятишки в печку подбрасывать будут. Потом ступай с богом, – отозвался за всех Высотин. – А что сторожились, дак не без причины. Обобрали нас тут недавно, двое…

– Двое?! – беглец неожиданно резко повернулся от печи и сморщился, должно быть, свет лампы резанул его воспаленные глаза. – Один с оспяным лицом, молодой, вооруженный? Другой бородат, вроде меня, замызган? Злой? Хваткий?

– Оне.

– Живы, значит. Идут. Двигаются… – беглец помолчал, покачался на кукорках, затем, по-стариковски, опираясь о колени руками, поднялся. – Ой, хорошо, мужики, что не затеяли вы противоборства! Лихие это головорезы. Страшные люди. Они б их, – кивнул он на нас, парнишек, сидящих рядком на нарах, – они б и детей не пощадили…

Беглец уже осмысленно, с чувством даже какого-то отдаленного достоинства попросил закурить, затем, если можно, попросил затопить баню.

– Я ведь понимаю, все понимаю, – пояснил он. – Улягусь тут. Вы из-за меня бодрствовать станете… А я в баньке… Вы меня подопрете – и вам спокойней, и мне безопасней… Снеси дров, милый мальчик, – обратился он ко мне. Пошевелился, поворочался на месте, будто оттаптывал себе место, повременил, подумал и глухо, пространственно уронил:

– Пока баня греется, я расскажу вам о себе и о тех двух…

– Как уже имел честь сообщить вам, в прошлом я военный. Звание мое полковник, – спустя время начал рассказ беглец, неторопливо и раздумчиво, в расчете на длинный разговор, – хотя смолоду пророчили мне сан священнослужителя, но так повернулась судьба: вместо семинарии военное училище… Похлопочите, похлопочите, ребятки, – сказал он мне и Петьке, – я подожду, не буду рассказывать. Вам на будущее следует знать то, что я поведаю…

Пока мы с Петькой таскали дрова в баню и затопляли каменку, беглец успел вздремнуть и совсем уже ободрился, лишь кашлял затяжно, надрывно, но, судя по всему, здоровый был человек, тренированный и стойкий.

– Не случись революции, быть бы мне попом, приход бы получил, скорее всего сельский, как мой покойный батюшка. Однако же не одна моя жизнь и судьба приняли тогда немыслимо крутой поворот, не я один взорлил из кандидата в тихого, прилежного семинариста, обратился вдруг рубакой-кавалеристом. Самим Семеном Михайловичем[1] замечен был, орденом награжден и определен в военное училище. Затем направлен на Дальний Восток, однажды был ранен в схватке с перебежчиками. Ранение с виду не опасное, однако сухожилие на ноге перебито. В госпитале я получил второй орден Красного Знамени, но вышел оттуда хромым, ни к какой полезной деятельности не пригодным, потому как всю молодость провел в седле и обучен был только военному делу.

Какое-то время я болтался без дела, подумывал уж махнуть на одну из новостроек, обучиться там какой-либо профессии и начинать жизнь заново. Но в это время затеялось укомплектование военных округов, и я был направлен в Киевский военный округ, получил там должность в одном из отделов, ведающих военной тактикой кавалерийских подразделений.

Увы, тактика эта, как скоро обнаружилось, со времен гражданской не менялась, ни у кого не являлось пока желания менять ее. Холили коней, рубили лозу, лихо скакали с саблями наголо и пели песни: «Никто пути пройденного у нас не отберет, конница Буденного – дивизия вперед!»

В странах Антанты тем временем строились авиационные и танковые заводы, в Германии фашисты взяли власть в свои руки. Тревожно кругом, у нас же в частях все еще идет праздник, песенки да победные речи…

Словом, после инспектирования кавалерийских и взаимодействующих с ними частей я выступил на военном совете с критикой. Меня попросили изложить свое особое мнение письменно, что я и сделал незамедлительно. Тем временем начались летние маневры. В качестве военного советника я был представителем в конном корпусе, которому надлежало проделать глубокий рейд в тылы «врага».

Комкор, бывший царский офицер, был человеком с военной выучкой, подкован на все четыре, как говорится, и тактически, и практически, в гражданскую войну доказал честность свою и храбрость. Но среди помощников его, особенно среди командиров эскадронов, все еще было много народу, умеющего лихо рубить шашкой и кричать «ура», но не привыкшего шевелить мозгами.

Неразберихи, разброда было уже много и в начале рейда, карты, да и те допотопные, перекалькированные еще с карт империалистической войны, были лишь у командиров

соединений и полков, эскадронным карт не досталось. Они особо и не горевали, заверяя, что и по нюху все «зроблят як трэба». Но «нюх» у многих уже притупился, да и заданная скорость маневра была уже не дедовская. В первые же сутки мы потеряли уже несколько эскадронов, но времена мирные, война «игрушечная» – не пропадут, решили мы, забыв, однако, что люди всюду навострены насчет шпионов, врагов внутренних и внешних, насчет внезапного нападения. Наши, «бродячие» эскадроны, а количество их возрастало с каждым днем, вместо выхода в «тыл врага» угодили на минные поля – маневры были приближены к боевым, мины ставились с запалами. Многие старые рубаки мин и в глаза не видели. Началась паника, потерянные лошади, несколько человек погибло, раненые были, но главное – мы сорвали «операцию». Взаимодействия никакого с танковыми соединениями не наладили, внезапным появлением кавалеристы перепугали танкистов, и те уж кое-где боевыми снарядами палить по ним принялись…

Командир корпуса, начальник штаба корпуса, начальник политотдела, как и представитель Военного совета округа, были разжалованы и отданы под суд. Троих приговорили к пяти годам, меня за мое письменное «особое» мнение, сеющее безверие в рядах Красной Армии, удостоили десяти. Во всем округе, во всей армии вдруг пошла «чистка» и не остановилась, слышно, по сию пору. Много военного люду, затем и гражданского пошло и поехало по этапам – насыпью в вагонах, навалом в баржах.

В Сибирь зимой в вагонах везли, раз в сутки воды давали, об еде и говорить не приходилось. По очереди ржавые вагонные болты лизали – в куржаке они были обмерзлые, кожа с языков обрывалась.

Весной в Красноярске погрузили нас на баржи, без нар, на голом дощатом настиле, под которым плескалась вода, и повезли на север. Из «десятки», знаменитой старой баржи, в которой поочередно возили на север то картошку, то людей, шкипер и охрана лениво откачивали воду, настил заливало, и мы спали тогда стоя, «обнявшись как родные братья». Кормили раз в сутки мутной баландой и подмороженным картофелем. На палубу нас не пускали, и оправлялись мы в бочки, которые погружены были вместе с нами, под рыбу. Где-то, на какие-то уж сутки, не помню, начался шторм, нас било бочками, катало по утробе баржи, выворачивало наизнанку. Мертвецов изломало, изорвало в клочья и смыло месиво под настил.

Почти месяц шли мы до Дудинки. Наконец, прибыли, по колено в крови, в блевотине, в мясной каше, и голый берег Заполярья показался нам землей обетованной, поселок и

пристань Дудинка с вихлястыми, мерзлотой искореженными деревянными домишками – чуть ли не раем господним.

Нас погнали в глубь тундры пешком. На пути мы стали встречать бараки, будки, людей, пестро одетых, которые делали полотно для железнодорожной линии. «Ну, брат, – сказал я себе, – отмахался сабелькой! Не все ломать, надо когда-то и строить…»

В тундре высилась большая гора с белой заплаткой вечных снегов на боку, ниже еще горы и горушки вот тут, на берегу небольшой речки, меж озер и болот стояли бараки, много бараков, стояли дома, несколько двухэтажных, один даже с красным флагом на коньке! – это и было началом будущего города Норильска.

Увидел я красный флаг, жилье увидел, людей, огни и, знаете, как-то успокоился даже. Раз так судьбе угодно, буду строить, буду хорошо работать, мне это зачтется, и я освобожусь досрочно. Так было – рассказывали заключенные – на Беломорканале. Вместо пяти лет строили канал два с половиной года, и все оставшиеся в живых были освобождены…

– Да вот маловато их осталось, живых-то, – неожиданно подал голос мой папа – герой-строитель великого канала. – Хотя и построили туфту.

– Что вы сказали? – приостановил рассказ норилец.

– Мало, говорю, живых-то осталось. Там, в камнях и в глине, лежат… Давай, давай…

Гость помолчал, подумал, подлил в кружку чаю, отглотнул.

– М-да. Словом, надо нести свой крест, тем паче, крест мой не такой тяжкий, как у людей семейных, пожилых.

Первый и второй год на стройке было терпимо. Зоны общей еще не было. Заключенные будто на выселении находились в бескрайних холодных просторах. Обходились и с топливом – сами его запасали. Нельзя было и на питание жаловаться, но разрасталась стройка, наплывало все больше и больше людей, тесно им становилось и в просторной тундре. Уркаганы, бандюги, жулье, рецидивисты начали объединяться и подминать под себя всю здешнюю жизнь, терроризировать население, которое худо-бедно сколотило городок, перекинуло из тундры к берегу самую северную железную дорогу.

Конечно же, цинга, простуды, обвалы в карьерах, метели, морозы уносили людей, но повального падежа все же еще не было. Да где-то и кого-то не устраивали темпы нашего строительства, жизнь наша не устраивала, точнее, обострялась и обостряется международная обстановка, нужна наша руда, нужен металл. Руководство стройки перешло в одни руки. Один

свободный человек, как император всея тундры, скотов и людей, в ней обитающих, всем правил. Человек он не простой, а золотой, достойный выкормыш тех, кто его взлелеял и воспитал по принципу: «Лес рубят – щепки летят».

Нормы выработки, и без того высокие, подскочили вдвое. Еда – согласно выработке, отдых – согласно выработке. Никаких актированных дней, никаких болезней и жалоб. На работу! На работу! На работу! Кубики! Только кубики! – больше никаких разговоров. Строительство жилья было заторможено. Новая больница, уже наполовину построенная, заброшена. В бараках народу – не продохнуть. Кашель, стоны, драки, резня, воровство и лютый конвой: при малейшем неповиновении – прикладом в зубы, за сопротивление – пуля. Отчет один: «за попытку к бегству!»

Куда? Какое бегство? Разве можно оттуда убежать? До Дудинки больше ста километров, до магистрали две с лишним тысячи, а начальник строительства требует продукции, на каждой оперативке брякает по столу: «Нам завезли достаточно человеческого материала, но добыча руды тормозится. Доставленный на всю зиму человеческий материал несоразмерно убывает, и если так будет продолжаться, я из вас самих, итээровцев, вохры и всяких других придурков, сделаю человеческий материал!»

Много людей пало в ту зиму. Но с весны караван за караваном тащили по Енисею вместо убывших на тот свет свежий человеческий материал. По стране катилась волна арестов и выселений, массовых арестов врагов народа, вредителей, кулацких и других вредных элементов.

Не знаю что, но что-то мне подсказывало: будет на нашей стройке еще хуже и тяжелее. Предчувствие меня не обмануло. Норильским рудникам поступило указание увеличить добычу руды, следовательно, расширить и строительство рудников, довести трудовой энтузиазм до наивысших пределов. «Слышите: песнь о металле льется по нашей стране! Стали, побольше бы стали! Меди, железа – вдвойне!» – взывало радио.

Император всея тундры, я уже говорил, человек непростой, а золотой, умен, изворотлив, да ум у него дьявольский! Как бывший геолог, он хорошо знал палеонтологию, понимал, что «щепки», которые летят в его владениях и падают на землю, не гниют в вечной мерзлоте, бальзамируются, как мамонты, могут пролежать в ней века. Если их найдут потомки? Что о нем, таком знаменитом, орденоносном руководителе, станет история говорить? Ну, может, и не этот, может, более простой мотив им руководил – хоронить в мерзлоте трупы трудно, много людей

отвлекается на пустяковое дело с основных работ.

И создал он похоронную команду из людей, крепких еще телом и умом.

Ночью, а ночь у нас всю зиму, подлинней, чем здесь, под Игаркой, мы грузили трупы, вытащенные из бараков, шахт и рудников, на балластные платформы, присыпали их снегом или тем же балластом, отвозили в Дудинку, здесь перегружали на подводы и лошадьми переправляли на острова-осередыши. Простой, но и иезуитский расчет: вешним разливом острова покрываются водой, и все с них смывается до белого песка. Населения в низовьях Енисея почти нет, то, что есть, из инородцев, переселенцев, зимовщиков, приучены всему не удивляться, помалкивать. Просторы енисейские в низовьях так широки, так разливисты, что растащит батюшка Енисей покойников по низинам, впадинам, по кустам и тундрам, там кого рыбы в воде иссосут, кого птицы расклюют, кого зверьки догложут.

Летом начались побеги. Пробные. Первые. Случалось их мало, и почти все бежавшие погибли в тундре, но часть, хоть и малая, к зиме была переловлена и возвращена, беженцам добавляли пять лет и направляли в мокрые забои. Однако они, эти первые, самые безумные и храбрые беглецы, рассказывали, как бегали, куда бегали, и своим опытом, ошибками учили, как не надо бегать.

Еще зимой я задумал побег, начал к нему готовиться – и это спасло меня от помешательства. Вы помните, какая нынче была весна, длинная, нудная, рано началась – на позднее навела, то польет, то заморозит. Трупы – количество их за эту зиму неизмеримо выросло – смерзлись, ледяная спайка не распалась под напором воды, и, когда острова объявились на свет божий, горы трупов, только уже замытые тиной, мусором, издолбленные льдинами, бревнами, остались лежать на месте.

По Дудинке и дальше от рыбаков на катера, с катеров на пароходы, с пароходов по реке пополз и начал распространяться ропот. Поговаривали, что вот-вот нагрянет высокая, чуть ли не правительственная, комиссия.

И она в самом деле нагрянула. Но к этой поре уже все трупы были изрублены топорами, издолблены ломами, кайлами, острова от них очищены. А дальше уж поработал Енисей-батюшка – залил, унес, замыл, заилил все следы преступления.

Я к той поре из похоронной команды был переведен с помощью одного знакомого зэка на пекарню рабочим. Говорили, что несколько человек сошли с ума, но я в это как-то уж и не верю. Похоронной команде давали дополнительный паек за

«вредную работу», по булке хлеба давали и осьмушке табаку. Я сам видел, как усевшись на кучу мертвецов, отупевшие люди ели тот хлеб, курили махру и не морщились. Да и что им страдать, когда они перевидали такое, что страшнее кошмарных снов и всякого, даже самого больного воображения.

Наш ученый император хоть не довел дело до людоедства, очень нужна была стране норильская руда, и снабжение, если б его упорядочить – не давать распоряжаться продуктами уркам, вполне бы сносное было, но «бывалые люди» рассказывали, будто на Колыме, на Атке, покойников сплошь закапывали без ягодиц. Ягодицы обрезались на строганину потерявшими облик человеческий заключенными.

У нас похитрее и половчее все было. Опыт Соловков, Беломорканала, Колымы, Ухты, Индигирки успешно перенимался и применялся здесь новаторски. Осенью, уже по первым заморозкам, из всех бараков, санчастей, из больницы разом были вычищены все доходяги, придурки, больные, истощенные зэки – тысячи полторы набралось. Им было объявлено – они переводятся на Талнах, где условия более щадящие, нет пока рудников и шахт, строится новая зона и посильный труд там, почти без конвоя, почти на воле, осуществляется, как в первые годы здесь, в Норильске.

Их вели через тундры, по хрустящим лишайникам, сквозь спутанную проволоку карликовых берез и ползучего тальника. За ними тянулся красный след растоптанных ягод – брусники, клюквы, голубичника…

Воспитанные на доверии к человеку и вечном почитании властей, больные, выдохшиеся люди не сразу заметили, что малочисленный конвой куда-то испаряется, куда-то исчезает, и когда несчастные люди спохватились – ни стрелков, ни собак с ними не было. Этот ценный опыт потом не раз повторялся. И никто никогда уже не узнает, как ушли в тундру и исчезли ней тысячи и тысячи человек, навсегда, бесследно.

– Какой изощренный ум, какое твердое сердце надо иметь, чтобы таким вот образом избавиться от нахлебников, не долбить зимою ямы под эти тысячи тысяч будущих покойников…

– Я иногда радуюсь тому, что не стал священнослужителем. Как бы я молился богу, который насылает на нас такое? За что? Разве мы более других народов виноваты в земной смуте или нас бог карает за покорность, за слепоту, за неразумный бунт, за братоубийство? Может, господь хочет нас наглядно истерзать, измучить, озверить, чтобы другие народы забоялись нашего безверия, нашей беспутности, разброда. Мы жертвы? Мы на заклании? Но, Господь, не слишком ли велика твоя кара!..

Что-то забилось, заклокотало в груди беглого. Отвернувшись в угол, за печку, он разразился кашлем или рыданием. Приподняв пихтовый веник, долго отхаркивался, сморкался в мусор, за печку и, отдышавшись, перехваченным голосом просипел:

– Простите! Может быть, и не следовало при детях… Но им расти, им жить. Кто-то ж должен знать, что здесь происходило, что мы сотворили. Как героически осваивали север. Спрячут ведь, спрячут мерзавцы свои преступления. Заметут свои следы. Замолчат. Хотя нет! Не-ет, не-э-эт! Не спрятать, не замолчать!.. Император римский Нерон, вон в какие времена жил и творил, но дошел до нашего времени с нашлепкой «Кровавый». Кро-ва-вый! Хотя за душой его триста, что ли, погубленных душ. По сравнению с тем же начальником нашей стройки, современным императором всея тундры, Нерон этот – дошкольник, октябренок! К-ха-ка-ха!.. Позвольте мне еще табачку, дыхание…

Беглый норилец закурил, покачался возле печки. Я подбросил в нее дров. Окно уже начало сереть от небесного света, восходящего над тайгой, но все чикали по окну капли, будто гвоздики по шляпку в стекла входили, оставляя светлые, тут же затекающие царапины на окне.

– Утомил я вас. Ложитесь-ка спать и меня спроваживайте в баньку.

– Да нет, – шевельнулся на нарах Высотин. – Какой уж тут сон?! Говори дальше. На сети нам сегодня не попасть. Ветрено.

И как бы удостовериваясь в этом, он глянул в сырое окно, и все мы услышали, как гуднул на крыше ветер, хлестанул за мокшей кориной по слеге, сыпко полоснул в стену пригоршней мелкой дроби. По-шаманьи зловеще, пространственно-жутко гудела вокруг нас тайга, соединенная с небом, набитым низкими текущими тучами. Трудно, почти невозможно было представить, что где-то в этом океане, непробудно-темном, в бездонности его и безбрежности, прячутся маленькие, одинокие люди.

Почти без надежды на волю и спасение бредут они и бредут к цели, ими намеченной.

– Мы вышли из Норильска втроем – люди все свои, телом и духом крепкие. Вышли с единственной целью и надеждой – добраться до Москвы, добиться приема у Сталина или Калинина, рассказать о том произволе, какой творится на нашей новостройке. Уходили ночью, по одному в глубь тундры, к тайникам, сделанным еще с зимы. Место сбора мы назначили на одном из притоков Енисея. Через несколько дней мы благополучно встретились. У нас был порядочный запас продуктов, что-то похожее на палатку, сшитую из мучных кулей и куска брезента, три топора, ножи и даже половинка пилы. Кроме

того, у нас была, хоть и худо скопированная, карта тех мест. Мы должны были выйти на магистраль и вышли бы, я думаю, да беда подстерегала нас на первом же отрезке пути.

Главной задачей нашей было пока что выйти к Енисею и продолжить путь вверх по его течению. Две с лишним тысячи километров! Мы были взрослые люди, понимали, что это такое. Догадывались – не все дойдем, но, может, хоть один дойдет, и то ладно, и то победа. Но предположить то, что стряслось с нами сразу же, никто из нас, даже в самые тяжелые минуты раздумия, даже в жутком сне не мог…

Беглый докурил цигарку, смял ее о порожек печки и задумался, глядя на огонек, – он очень любил смотреть на огонь. Привычка уже давняя, самим им не замечаемая.

– На речке мы сколотили плотик и, спокойно погрузившись, поплыли по большой воде, радуясь тому, что порядочное расстояние нам не топать по мокрой и глухой еще тундре, да и находиться будем мы в стороне от всяких патрульных и сторожевых служб.

Плыли день, где погребаясь веслами, где шестами подпихиваясь, впрочем, по вздутой весенней реке нас и без того несло бойко. Но нам хотелось скорее, скорее, вперед! И когда понесло нас совсем хорошо, и под плотом заплескалось, забурлило, мы никакого значения тому не придали – по нашей примитивной карте эта почти еще не изученная местность была голой, ровной и безопасной во всех отношениях. Но к реке отклонялся один из отрогов горного хребта Путорана, о котором мы слышали, что он есть где-то, но что так далеко отклоняется, предположить не могли. Словом, на ровной этой, вертлявой речке оказались пороги, и заметили мы их – люди сухопутные – уже тогда, когда и сделать ничего было невозможно. Плот наш закружило, понесло в пороги. Шум и гул стоял вокруг, вода втягивалась в каменное промежье и падала куда-то вниз. Я велел товарищам лечь, схватиться за бревна, и сам сделал то же. Но мы не удержались за бревна, плот наш развалился, рухнул по стене громадной, дымящейся белой пеной в кипящий котлован. В меня ткнулось бревно, я за него уцепился, и меня закружило по этому глубокому котловану, берега которого отвесной стеной стояли над рекою. Показалось, что под скалою пробкой выпрыгнул наверх окровавленный человек, вскрикнул и исчез. Держась за бревно, я подгребся к тому месту, но ничего там не увидел и сам уже был плох – ледяная вода пронзала до костей.

Тут я вспомнил про бога – если он не забыл совсем про нас, грешных его рабов, пусть обернется лицом к одному из них и поможет ему. Молитва божья, судьба ли продлили мою жизнь.

Меня выволокло на свет белый. Очнулся на каменном приплеске и глаза в глаза встретился с чьим-то пристальным взглядом. Я застонал и сел, от меня отпрыгнул песец, тощий, в клочьях линялой шерсти. Прикормились на человечине здешние зверьки. Этот нюхал и ждал, когда меня можно будет начать.

Я околел бы в ту ночь, если б один из нас не догадался залить варом, залепить древесной смолой по спичечному коробку. Мне удалось развести костер уже в потемках, и не костер – огонек из берестинок, ломаных палочек, ободранных сучьев, собранных в камешнике. Немного обогревшись, я бродил по приплеску берега и в расщелинах меж камней насобирал плавника, еще сырого, но гореть с подсушкой способного. У костра я обмыслил свое положение, посмотрел, в чем и с чем остался – сапоги, тюремная куртка и штаны, рубаха, белье, вот какая со мной и на мне осталась одежда, даже шапки нет. В кармане куртки пара удочек, иголка с ниткой, воткнутая в отворот карманчика, кусок полуразмокшего сухаря, горсть мокрого табаку и клок раскисшей газеты, которую я тут же принялся сушить.

Всю ночь я напряженно ждал крика, шагов по камням к костру, мне не хотелось верить, что друзья мои погибли. Хоть один должен уцелеть. Утром я двинулся по берегу и обнаружил одного из моих товарищей по несчастью. Он лежал возле воды с перебитыми ногами, проломленной головой и был еще теплый. В кармане его было две удочки, коробок спичек, складной ножик, иголка с ниткой, банка с табаком и кусочек размытого сахара в уголке брючного кармана. Я похоронил товарища в камнях, плотно завалил его плитами, чтобы не съели труп песцы, попросил прощения за то, что оставил его в одном лишь белье, и еще ночь просидел возле порога, ожидая второго товарища.

За это время я соорудил из рубахи товарища мешок, из портянок сшил что-то вроде шапки, лямки к мешку приделал и, сложив в него сапоги и костюмчик покойного, который я надевал лишь к ночи, двинул сначала по берегу реки, затем на солнце, все ярче с каждым днем разгорающееся. Вдоль реки меня не пустили идти глыбы натолканных льдов, вздувшиеся ручьи и глубокие старицы; остановило вольно сияющей, куда попало бегущей снежной водой.

Через два дня я снова вышел к той же реке, к тому же порогу. Я кружил по тундре, по редким ее островкам, однако не напугался, не приуныл – что-то уже обжитое, притягательное было для меня на этой реке, в этих бездушных камнях, да дрова здесь были, да и находки, так меня радующие, попадались. Легши на холодный камень, я глядел со скалы вниз и сначала увидел

надетый на каменья дождевик, затем косяки рыб и под ними зеркально сверкающий предмет – это либо фляга со спиртом, либо котелок, столь мне необходимый. Я мог разбиться, утонуть, схваченный судорогами, но предмет этот должен был достать.

И нырнул. И достал! И что бы вы думали достал? Топор! Я так ему обрадовался, что даже расплакался и сказал себе, что с топором-то я не пропаду, но больше всемилостивейшему богу докучать не стану, буду вспоминать забытые уже молитвы и с молитвой да божьей помощью выйду к Енисею.

Я еще раз попытался углубиться в тундру и еще раз убедился, что весной в тундре не только прямых, но и никаких путей нет – озера, реки, речки заставляют петлять, кружиться.

Впрочем, что это я? Вы ведь лучше меня знаете Заполярье. Опытный человек сидел бы там, где его настигла беда, ловил бы рыбу, сохранял силы, пережидал половодье. А я все шел, все бился и через неделю пути увидел вдали щетинку леса. Не хотелось верить; подумал: вижу тундровые лиственничные лесочки или останцы каменных отрогов – это значило бы, что я сильно отклонился на север и мне уж не достанет сил вернуться даже на стройку, в Норильск. На бессолой рыбе, на прошлогодних ягодах и горьком орехе кедрового стланика долго не протянешь.

Вера моя и помощь божья укрепили меня – и я вышел к лесотундре, затем зашел в загустелые леса. Да радовался-то я напрасно. Здесь уже оттаял, взнялся в воздух комар. Был он еще квелый, дымом, заметкой лица можно было от него еще спасаться. Но вот когда пригреет хорошо, что начнется? Боязно об этом даже думать.

Тем временем я уже утратил несколько крючков – щуки, совершенно не знающие страха, понимающие только, что им можно хватать кого и что угодно, их же поймать не смеет никто, разоружали меня. Я стал рыбачить просто и нагло. Поймав две-три сорожины на удочки, насаживал рыбу на жерлицу с проволочной подстраховкой – такие ловушки у нас с зимы налажены были, опускал кособоко шевелящуюся рыбку в глубь озера или речки. Тут же из засады торпедой вылетала щука, где и две, где и три, и, которая проворней, цапала сорожину, мяла ее и старалась уйти в черную корягу или в кисель прошлогодней травы, на ходу заглатывая добычу. Я изо всей силы выхватывал леску – щука оказывалась на берегу, но добычу из зубов не выпускала и долго не могла понять, где она, что с нею произошло и почему оказалась на суше. Если рыбина была не по снасти, я отгонял ее палкой. Случалось, лавливал я и карасей, и пелядку, сигов и даже в одном очень чистом озере с песчаным дном напал на стерлядок, но рыбы до того наелся, что уж не мог на нее

смотреть, жевал, как траву.

Простужен я был уже сильно, начал слабеть. Но тут мне стали попадаться кедрачи, хоть и худенькие, северные, а все же кедрачи – прекрасные деревья. Под ними спать суше, теплее, лапник, орех, пусть и горький, пусть истекший, все же пища. И брусники прошлогодней в лесу больше стало попадаться.

Однажды я обнаружил умирающего оленя. Он лежал в сырой яме, в бурой, размешанной болотине. Он объел вокруг уже все кусты, мох и осоку вместе с корнями, выгрыз землю, выел ее до мерзлоты. В открытом переломе ноги оленя кишели черви, и под кожей прошивали они уже ходы, к склизкому облезшему паху. Кости зверя торчали наружу, от него пахло, но, увидев меня, он забился в грязной яме, пробовал взняться, но со стоном наотмашь упал обратно в грязь.

Боясь, что олень испустит дух прежде, чем я ударю его топором, зажмурил в кровь съеденные гнусом глаза и обрушился в ямину.

Я прожил возле убитого оленя несколько дней и пожил бы еще, если б не гнус, набирающий ярость. Из шкуры оленя я вырезал себе подстилку под бок, сделал несколько теплых стелек в сапоги и – главное – намочил и вырезал тонкие сыромятные ремешки, вытянул из ног животного сухожилия, чинил ими одежду, обувь, даже ладился приспособить их в качестве лески. Конечно же, я давно уразумел, что заблудился, утерял всякие ориентиры, от тупости забывал приметы, но не хотел с этим согласиться и все надеялся – вот-вот выйду к Енисею, не миновать мне этой великой артерии, как ее именуют в школах. Но таймырская тундра, дикие леса Заполярья такие великие, что даже Енисей может в них затеряться, человечишко же для таких пространств – мошка, тля, былинка.

Если бы вы – северяне – не ведали, что такое северный лес и тундра, каково в них заблудиться, я бы, может, и рассказал вам об этом. Но вы, я вижу, люди бывалые, и ребятишки у вас не барчуки. Скажу только, что я не раз сожалел о том, что не погиб вместе с товарищами своими там, на пороге, полный сил и веры в будущее.

Не знаю, сколько времени, какие были число, месяц, день, но уже отцвела лесотундра, отпела весна птичьими голосами, самки сели на гнездах, линялые самцы прятались в укрепе. Я брал из-под самок яйца, пил их, если попадались насиженные, пек в огне, догнал и забил палкой несколько линялых куропанов и глухарей. Вместе с пером и внутренностями я закапывал птицу под костер в землю и, сначала с ужасом, потом почти равнодушно, заглядывал внутрь последнего коробка спичек. Огонь я разводил уже не

каждую ночь, только в непогоду. Когда у меня останется последняя спичка, принял я решение, – разведу в последний раз огонь и лягу подле него навсегда.

Беглец прикрыл ладонью глаза, и что-то заклохтало в его горле, мы поняли, что он удерживает в себе крик или плач. Папа протянул гостю кисет. Он ощупью принял его и, закурив, молвил:

– Благодарю вас! Не приведи, господи, вам, детям…

– Может, вы еще покушаете? – перебил я гостя.

– Нет-нет, спасибо, дитя. Храни тебя, господь, не оскверни, не обозли в это худое время милостивое сердце.

– Может, рыбы соленой?

– Нет-нет, сольцы.

Я подал беглецу берестянку соли, он бережно щепотью взял соли, высыпал ее в рот и замычал от сладости и боли – соль разъедала треснувшие губы, цинготно сочащиеся десны.

– Ах, как нам не хватает сердца! – воскликнул он.

Иссосав еще щепотку соли, он громко, почти клятвенно заверил нас:

– Если я доживу до лучших дней и у меня будет свой угол, я весь его завалю солью. Соль – это!.. Нет, вы не знаете, что это такое, соль! У вас ее много, целые бочки, вы ею сорите. Но не надо, не надо, особенно детям, чтоб они узнали это, испытали наше горе. Борони бог, как говорят тунгусы… Ах, как нам не хватает сердца! Соль добудем, хлеб посеем, но – сердце!..

– М-да, простите еще раз, светает. Не дал я вам спать. Н-но, н-но у меня давно не было и, может, не будет уже таких добрых слушателей…

Не знаю, в бреду или по наитию божьему я стал чувствовать: в лесу есть еще кто-то. Ни следов, ни кострищ, ни спичечки горелой, но вот чувствую: есть кто-то поблизости – идет следом или кружит возле меня. Нет, нет, нечистой силы я уже не боялся и подумал, что это смерть моя кружит надо мною, сжимает кольца, дышит в меня гнилозубой хворью, тленом, перегорелой душной кровью, хочет избавить меня от мук. Я не то чтоб вовсе не боялся смерти, призрака ее, я еще мог почтительно относиться к жизни, нужной не для одного меня, но для моих уже погибших и погибающих в невиданно страшных застенках, на каторгах собратьях моих. Если б не это, я бы просто не встал однажды с подстилки из оленьей шкуры, лесные мыши, песцы и прочие зверушки съели бы меня вместе с клочком шкурки – и вся недолга. Но я еще сопротивлялся. С помутневшим уже разумом, до дна почти выпитый комарами, иссушенный, разбитый кашлем, в изожженной и драной одежде я шел и шел. Сколько раз я уже видел Енисей, выходил к нему, умывался, пил воду и плакал от

счастья. Но это оказывалось лишь озеро, закрытый водоем, как говорят опять же в школе.

Оглушенный комарами, мокрецом и мошкой, я старался идти ночью, когда особенно глухо и застойно в тайге, когда уж и дышать-то нечем от испарений и гнуса. Днем я находил хоть какой-нибудь обдув и падал на подстилку, я сделался неосторожен и рассеян. Отупев от гнуса, выл в бессилии. Одиночество меня добило – я кричал что-то в небо, грозил ему кулаком.

У меня осталась одна жерлица, удочка вся в узлах, четыре спички, топор и нож. Спал я в обнимку с топором, он сделался моим самым надежным другом и спасителем, и я даже разговаривал с ним…

И вот серой, звенящей комаром ночью я увидел в тайге мелькнувший свет и подумал, что это бред, галлюцинации, стал вслух себя уверять, что отблеск небесный, отражение звезды в воде. Но какие звезды в эту пору, давно уже размыло ночь густыми туманами, солнце полого зависало над пологой тайгой, не закатывалось.

Сначала я побежал, потом пополз и увидел наконец экономно горящий костерок, мягко ступая, я приблизился к огню и спрятался за дерево. Подле костра, на лапнике, тесно прижавшись друг к другу, спали двое. И первого взгляда хватило, чтоб убедиться, что это «наши». Меньше меня были они ободраны, но тоже обросли, одичали, комары над ними клубились. Каков же был я? Страшно было подумать. Я кашлянул и вновь спрятался за дерево. Оба норильца тотчас вскочили, один схватился за топор, лежавший меж беглецами, второй за самодельный ножик. Я коротко им объяснил, кто я таков и почему тут.

– Выдь на свет и остановись! – скомандовали мне и подшевелили огонь. Я вышел к костру и покорно остановился.

– Х-хо-о-оро-ош! – покачали головами незнакомцы и набросились на мой мешок. – Соль? Хлеб? Табак?

Вытряхнув содержимое мешка, они удрученно замерли. Потом завернули в листья моху, сухого моху с чебрецом, пососали цигарки, и тот, кто был тоньше, моложе, серый одеждой, волосами, лицом и глазами, устало полюбопытствовал:

– Давно блудишь?

Его и звали Серым. Страшный человек. Опытный бандит. Он много раз уходил из мест заключения. В апреле из штрафных бараков ушло трое. Так рано еще никто с нашей стройки не уходил. Рисковые ребята. Но третьего они, видать, уже потеряли. Что ж такого? Нас ведь тоже трое бежало.

Надо ли говорить, как я обрадовался людям, пусть эти люди

были Серый и Шмырь, но все равно ведь люди, судьба соединила нас в бедствиях наших, скрепила жизнь побегом и тайной. Серый и Шмырь тоже заблудились. Но шли они упрямо, без колебаний по заполярной тайге, зная с уверенностью, что идут на юг и что поздно или рано выйдут на приток Енисея, а по нему и к самому батюшке Енисею, а там – люди, жизнь, есть где и у кого поживиться, кого пограбить, кого обобрать, вина добыть, с бабами побаловаться.

Но я поторопился радоваться – соединив нас в несчастье, судьба не сделала артельных людей сообщниками ни в мыслях, ни в устремлениях. Маленькая артель разделилась надвое – в меньшинстве, конечно же, остался я.

Когда Серый и Шмырь отдыхали, я ловил рыбу, малых бескрылых пташек, запасался корешками, травами, варил похлебку в котле, который у этой пары сохранился. Первое время мы ладили. Я уверовал, что с такими бойцами не пропаду и непременно выйду к Енисею, а там не с руки нам быть вместе. Но проходили дни, недели, мы никак не могли выпростаться из лесотундры. Совсем обносились, затощали. Давно была уже очищена от шерсти, выварена и съедена оленья шкура, мы ловили и ели леммингов, белок и даже бельчат, варили грибы – все без соли, без соли! Рты наши скипелись от крови, пахло из нутра нашего падалью. Гнус разъедал лица, руки, шеи до того, что оголилось мясо, пошли по нему язвы. На артель осталась одна удочка и жерлица с обломанным крючком. Теперь мы рыбачили попеременно. В то время, когда Серый и Шмырь спали, я ловил и варил рыбу, после спал я, они ловили и варили.

Но волчий закон, по которому существовали Серый и Шмырь, скоро дал себя знать – они перестали оставлять мне еду, однако еду добывать и дрова заготавливать заставляли безоговорочно. Сами понимаете, после нашей ударной стройки толковать с ними о совести и порядочности – пустая трата слов. Они были крепче меня, лучше сохранились, но я тоже не давал себе окончательно ослабиться, старался, когда связчики спят, найти хоть какое-то пропитание. Меня подстерегла еще одна большая беда – я оборвал последнюю удочку. Уснул с удочкой в руках, клюнула сорожина на короеда, тут же на нее метнулась щучина. Я проснулся от рывка, всполошился, но было уже поздно – хищница вдавливалась в глубину, разворачивала сорожину головою на ход, следом волочился обрывок фильдеперсовой лески, клубилась рыбья чешуя.

Собратья мои убили бы меня, но я сказал, что спрятал жерлицу и не покажу, где спрятал, коли они примутся меня убивать. Кроме того, у меня есть еще две иголки, из которых

можно сделать крючки, да из штопора-складника, если его накалить, уду можно загнуть, и еще я придумаю, как ловить петлями птицу и щук, нежащихся на отмели.

Этим я на какое-то время продлил себе жизнь. Но страшное слово «баран» все чаще и чаще достигало моего сознания, хотя поверить в то, что Серый и Шмырь ведут меня с собой, чтобы, когда вовсе край придет, съесть меня, поверить не мог. Сыспотиха подбирался к связчикам, пытая, куда делся третий их спутник по прозвищу Ноздря. Серый и Шмырь уверяли меня, что, как и мои спутники, утонул он при переправе через реку, но скоро посчитали – таиться им незачем и врать не стоит, никуда я от них не денусь, рассказали, как тащили спички, одна короткая, две длинных. Короткую вынул Ноздря. Он был вечный зэк, опытный ходок, старый вор в законе, игру судьбы принял, как полагается герою современности, не скиксовал, не пикал. Наставил в грудь себе ножик, навалился на него, попросив давнуть в спину. Серый помог ему, облегчил кончину.

Связчики разделали «барана» топором, мясо закоптили на огне и продержались до прилета в тундру птиц. По насту из тундры им выйти не удалось. Поломали лыжи, съели припасы. Дальше предстояли им одна только длинная и одна только короткая палочка – спичками уже не играли, берегли их пуще глаза.

И тут-то явился я. Сам набрел – воистину баран! Безрогий, безмозглый, на заклание чертом посланный.

Однажды ночью Серый и Шмырь вернулись к огню ни с чем. Рыбу и птицу петлей ловить они не навострились, нервов не хватало, привыкли все брать на шарап. Ягоды еще не созрели, орех был с молоком, птица поднималась на крыло. Питаться в тайге сделалось нечем.

Серый и Шмырь упали возле огня обессиленные. «Ну?» – закрыв глаза, молвил Шмырь. Я понял, что это «ну» означает; не таясь начал молиться. «Ладно, поспим. Может, морок какой найдет. Видеть эту падлу не могу! Весь в парше!..» – «Опа-алим!» – «Тьфу! – плюнул Серый, – падаль хавать легче!..» – «У нас и падали нету. Сами скоро падалью сделаемся…» – «Кончай! Покуда не отбросил копыта, дотуда жив! Дави бабу-землю. Спи. Отдохнем – поработаем…»

Серый костью послабее Шмыря, но духом покрепче. Шмырь – он злобой страшен, однако смекалкой не вышел.

Я дождался, когда приутих костер, пока разоспались мои спутники, и, сказав про себя: «Господь вас прости, ребята!» – отполз от огня, вскочил – где и силы еще взялись и бросился бежать. Помнится, я даже кричал, мнилась мне за спиной погоня.

Помню, когда забежал в густой туман, обрадоваться даже не мог, упал без сил.

Солнце было уже высоко, когда я очнулся и увидел, что из тумана выпрастывается большая, широкая вода. По песчаному берегу прополз к тихой лагуне, заглянул в воду и отшатнулся: на меня из воды воспаленными, опухшими глазами глядело существо, уже мало похожее на человека.

По большой воде дул ветер, кружились чайки, стаи молодых уток делали разминки, что-то перемещалось – за пологим горизонтом что-то дымило.

«Не Енисей ли это?»

Я сомлел, погрелся под солнцем, отдыхая от тяжкого гнуса, и скоро опять уснул. Очнулся от того, что меня било и катало по опечку волнами. Соскочил и увидел над водой, в разъеме берегов, темный силуэт. Ничего не мог сообразить, но уже отчетливая мысль бежала, хлестала волной в меня: «Я вышел к Енисею! Я вышел к Енисею! По Енисею идет пароход!..»

Вера в чудо во мне давно истребилась, и пока я не прочел на борту новенького теплохода: «И. В. Сталин», старался не доверять своим глазам. На теплоходе пассажиры, женщины, детишки – кто-то помахал мне рукой. А я не мог помахать в ответ. Мокрый от волн и слез, я стоял на коленях в мокром песке, кланялся, молился земле, благодарил бога за чудо, подаренное мне, – чудо жизни! И верил, в ту минуту верил, что те, на теплоходе, – очень счастливые люди, мне же выпало тяжкое испытание, по чьей-то злой воле, по какому-то недоразумению. Я должен, должен, должен дойти до самого главного, самого справедливого человека, чьим именем совершенно справедливо назван этот красивый теплоход. Он выслушает, он поймет меня, он сам в этих краях бедовал в ссылке, сам бежал отсюда и всего натерпелся. Он, и только он, может и должен всех спасти, развеять тяжкую напасть на эту страну, на ее исстрадавшийся народ.

Сидя у почти затухшей печки, гость наш умолк, держа эмалированную кружку в пригоршнях. Через окошечко в избушку сочился нехотя свет нарождающегося застиранного дня. Беглец глянул на окошечко и, допивая из кружки остатки теплого чая, заторопился:

– Ну, что вам еще к рассказанному добавить? Серый и Шмырь следом за мной тоже вышли к Енисею, выше меня по течению. Я скоро обнаружил их «следы» – разграбленный чум кето, выехавших на лето рыбачить, за чумом перестрелянные собаки, изнасилованная, растерзанная женщина. Самого рыбака эти два шакала, очевидно, утопили в реке, парнишку-кето посадили в лодку и оттолкнули от берега – его поймала и спасла команда

буксирного парохода. В чуме беглые разжились едой, солью, одеждой. Впрочем, какая одежда у рыбаков-националов, на месяц-два откочевавших из тундры к Енисею. Взяли ружье, то самое, которым вас застращали. К ружью скорее всего уже нет зарядов, и все же хорошо, что вы не связались бороться с ними, – они могли бы запереть вас в избушке и сжечь. Они на «свободе», они добрались до жилых мест и «гуляют». Будут они ходить, огибая большие станки, города, грабить и насильничать до холодов, потом сдадутся. Никакой цели и задачи у них нету. Я шел по их следам. Открыто заходил в станки. Два раза меня задерживали и отдавали в сельсоветы. Оба раза отпускали. Я не ворую, не граблю и намерений своих не скрываю. Меня отпускали с богом, и я уверен, пройду дальше, чем Серый и Шмырь. Мною движет милость. Я дойду до Москвы, чего бы мне это ни стоило. Память товарищей, страдания людей обязывают меня выполнить долг, может быть, последний и самый главный в моей жизни… Дайте, пожалуйста, еще сольцы!

Беглец в который раз пососал соли и, покачиваясь на корточках возле печки, ровно бы подумал вслух:

– И все-таки не следовало при ребятишках…

– Наши ребятишки в Игарке растут, – отозвался Высотин и прислушался. – Дует? Дует и дует. Не дает нам погода план добрать. Сматываться надо из этой тайги. Нигде покою человеку не стало. Да и ребятишкам в школу пора.

– Да-а, наступает осень! – эхом отозвался от печки беглец. – Спешить надо, не выйду до зимы из Заполярья – пропал.

– Давай, мужик, поспи маленько и уходи. Шишкари иль ягодники из Игарки объявятся – черти принесут, патруль нагрянет – нам тоже несдобровать.

– Да-да, вы правы. Я уйду, уйду. Соли узелок попрошу и хлеба кусочек, да ножницы – дикий волос…

Папа мой сказал:

– Давай! Я умею маленько.

Беглец сел посреди избушки на табуретку, папа повязал его мешковиной и закружился вокруг клиента, защелкал ножницами, однако обычных при этом складных присказок не выдавал.

Я замел волосья в печку.

Высотин бросил в полотняный кошель мешочек с солью, булку хлеба да коробок спичек, кусок сахара и со словами: «Вот… чем богаты», – подал его гостю.

– Благодарствую! Спаси вас бог.

– Не на чем. Че-то не очень он нас пасет. Кто знает, что завтра с нами будет?

– Не гневите, не гневите всевышнего – все под ним ходим…

Не надо так. Не надо без веры жить.

– А где ее, веры-то, набраться? У тебя?

– Да и у меня хотя бы. Я ж не терял веры, даже там, на краю гибели, в тундре. Я стремлюсь к справедливости, и бог мне помогает.

– Ну, ну, стремись. А мы тут, в Игарке, такой справедливости навидались, что некуда уж справедливей.

– Нет, нет и нет, мужики, не победить человеконенавистникам исконную доброту в людях. И сейчас не всех они и не все сломили. Не всех, не всех. Как ни странно, среди интеллигенции, именно среди той части самых обездоленных, которую тюремные и лагерные держиморды особенно люто ненавидят, находятся люди столь стойкие, что они потрясают своим мужеством даже самых кровожадных мясников. Подумайте сами – почти ослепший от побоев, карцеров, недоедов, старенький философ-ученый заявляет начальнику лагеря и замполиту: не могу быть арестованным. Это вы вот навечно арестованы. «Как это?» – гогочут граждане начальники. «А так вот – сейчас войдет старший по чину, и вы вскочите, руки к пустой голове приложите, а я как сидел на табуретке, так и буду сидеть, продолжая думать то, чего не успел додумать прежде, – о человечестве и о вас буду думать, поскольку есть вы несчастное, заблудшее отродье и нечем вам думать, лишены вы думательного инструмента…»

– Н-да, гладко ты баешь, а мужика-то, крестьянина, они охомутали, извели.

– И все равно доброта и терпение разоружат, изведут действо.

– Больно ты разоружил-то Шмыря и Серого.

– Да-а, тут правда ваша. Этих никаким, даже божьим словом не проймешь. Это уже продукт новой эпохи.

– Да завсегда они были и будут. И между прочим, тоже отца-мать имели и имеют, верующих, деревенских, может, и пролетарьев – но масть-то идет одна.

– Не дай бог, не дай бог, мужики, если Серый и Шмырь да их сотворители начнут миром править.

– Конечно, конечно, не дай и не приведи господи.

– Ну, значит, с богом! И вали дальше. Вроде утихает. Нам на сети скоро.

В полдень мы выплыли на сети. Хромого в бане уже не было. Спустившись к лодке, мы увидели его, резко припадающего на правую ногу, километрах в двух от избушки. Он шел в направлении станка Полой, правился вверх по реке, к свободе, к заступнику всех обиженных и угнетенных, и далеко, ох, как далеко и долго ему было еще идти, добираться до тех мест, где

обреталась справедливость. Иней таял, струя́ над берегом ды́мку, и скоро хромой заподпрыгивал на сверкающем приплеске, по которому катились козырьки слабеющих волн. Вот он отделился от приплеска, метляком залетал, закружился в синеватой дымке… и – воспарил.

… Его взяли спящего в деревне Кубеково, под самым Красноярском, и вернули обратно, добавив пять лет сроку. Он убегал еще не раз и в один из побегов обморозил ступни обеих ног. Его вылечили и назначили на штрафные работы – в балластный карьер. Убежать из Заполярья больше он не мог, да и бежать из Норильска с каждым годом становилось все труднее. Город обретал современное индустриальное советское лицо, лагеря, зоны, проволока, охранительные службы с будками, стрелками отделялись от города, укреплялись, вооружались. Строгие конторы в удобных домах, с теплым отоплением, с электроосвещением, с политотделами и подотделами возведены в центре города – все это ладилось, селилось, плодилось прочно и надолго, энкавэдэшники твердо верили – навечно.

Конвоир Зубило, «из бывших», водивший на работу штрафную бригаду, развлекался тем, что пелажного подростка заставлял прыгать с отвесной стены карьера и тут же подниматься обратно. Откос карьера плыл, подросток отчаянно гребся руками, ногами, карабкался, не подаваясь с места.

Нахохотавшись до колик в боках, веселый конвоир бросил подростку конец веревки, помог ему подняться. Но не успел истязаемый сказать: «Спасибо, гражданин начальник», – как тот его снова столкнул вниз и, клацая затвором, веселился: «А ну наверх! А ну, доходило, резво, резво!..»

«Прекрати!» – сказал конвоиру седой, раскоряченно ступающий на обе ноги штрафник по прозванию Хромой.

Бешено белея глазами, конвоир передернул затвор, двинулся на Хромого, но выстрелить не успел. Мелькнула в воздухе кувалда, и на свежо сереющую кучу гравия вывалилась горстка еще более серого парящего ошметья, напоминающая отцеженную опару: из укоротившегося тела конвоира выбуривала кровь, военные штаны потемнели в промежности. Овчарка – верный друг и помощник Зубилы – взлаяла, протяжно заскулила, сорвалась в карьер и через минуту уже чесала в просторную тундру.

Хромой сказал: «Спасибо, братья», – поднял винтовку Зубилы, тремя выстрелами вызвал начальника караула и, не подпустив его близко, прокричал: «Бригада никакого отношения к убийству конвоира не имеет. Я убил его!»

Сделав резкий поворот, Хромой с винтовкой в руках кувыркнулся в карьер.

Начальник караула и запыхавшиеся стрелки подбежали обрыву карьера и услышали: «Да здравствует товарищ Сталин!» – и следом хрясткий от мороза, одинокий, без эха, выстрел.

# Царь-рыба

В поселке Чуш его звали вежливо и чуть заискивающе – Игнатьичем. Был он старшим братом Командора и как к брату, так и ко всем остальным чушанцам относился с некой долей снисходительности и превосходства, которого, впрочем, не выказывал, от людей не отворачивался, напротив, ко всем был внимателен, любому приходил на помощь, если таковая требовалась, и, конечно, не уподоблялся брату, при дележе добычи не крохоборничал.

Правда, ему и делиться не надо было. Он везде и всюду обходился своими силами, но был родом здешний – сибиряк и природой самой приучен почитать «опчество», считаться с ним, не раздражать его, однако шапку при этом лишка не ломать, или, как здесь объясняются, – не давать себе на ноги топор ронить. Работал он на местной пилораме наладчиком пил и станков, однако все люди подряд, что на производстве, что в поселке, единодушно именовали его механиком.

И был он посноровистей иного механика, любил поковыряться в новой технике, особенно в незнакомой, дабы постигнуть ее существо. Сотни раз наблюдалась такая картина: плывет по Енисею лодка сама собой, на ней дергает шнур и лается на весь белый свет хозяин, измазанный сажей, автолом, насосавшийся бензина до того, что высеки искру и у него огонь во рту вспыхнет. Да нет ее, искры-то, и мотор никаких звуков не издает. Глядь, издали несется дюралька, задрав нос, чистенькая, сверкающая голубой и белой краской, мотор не трещит, не верещит, поет свою песню довольным, звенящим голоском – флейта, сладкозвучный музыкальный инструмент, да и только! И хозяин под стать своей лодке: прибранный, рыбьей слизью не измазанный, мазутом не пахнущий. Если летом, едет в бежевой рубахе, в багажнике у него фартук прорезиненный и рукавицы-верхонки. Осенью в телогрейке рыбачит Игнатьич и в плаще, не изожженном от костров, не изляпанном – он не будет о свою одежду руки вытирать, для этого старая тряпица имеется, и не обгорит он по пьянке у огня, потому что пьет с умом, и лицо у Игнатьича цветущее, с постоянным румянцем на круто выступающих подглазьях и чуть впалых щеках. Стрижен Игнатьич под бокс, коротко и ладно. Руки у него без трещин и царапин, хоть и с режущими инструментами дело имеет, на руках и переносице редкие пятнышки уже от линявших веснушек.

Никогда и никого не унизит Игнатьич вопросом: «Ну, что у тебя, рыбачок, едрена мать?» Он перелезет в лодку, вежливо

отстранит хозяина рукой, покачает головой, глядя на мотор, на воду в кормовом отсеке, где полощется старая рукавица или тряпка, култыхается истоптанная консервная банка, заменяющая черпак, прокисшие рыбьи потроха по дну растянуты, засохший в щели пучеглазый ерш. Вздохнет выразительно Игнатьич, чего-то крутанет в моторе, вытащит, понюхает и скажет: «Все! Отъездился мотор, в утиль надо сдавать». Либо оботрет деталь, почистит, отверткой ткнет в одно, в другое место и коротко бросит: «Заводи!» – перепрыгнет в свою лодку, достанет мыло из карманчика лодки, пластмассовую щетку, руки помоет и тряпицей их вытрет. И никакого магарыча ему не надо. Если пьет Игнатьич, то только на свои и свое, курить совсем не курит. В детстве, говорит, баловался, потом – шабаш – для здоровья вредно.

– Чем тебя и благодарить, Игнатьич?

– Благодарить? – усмехнется Игнатьич. – Ты бы лучше в лодке прибрался, сам обиходился, руки с песком да с мылом оттер. Чисто чухонец, прости господи! – оттолкнется веслом Игнатьич, шевельнет шнурок и готово дело – только его и видели! Летит дюралька вдаль, усы на стороны, из-за поворота иль из-за острова еще долго слышен голосок, и, пока не умолкнет в просторах нежный звон мотора, полорото торчит рыбак средь лодки и удрученно размышляет; в одной деревне родились, в одной школе учились, в одни игры играли, одним хлебом вскормлены, а поди ж ты!.. «Шшоткой руки! С мылом! Шшотка сорок копеек стоит, мыло шешнадцать!»

И примется хозяин лодки со вздохом наматывать шнур на скользкий от бензина и копоти маховик, с некоторой пристыженностью и досадой в душе на свою неладность, а если прямо сказать – на недоделанность.

Само собой, ловил Игнатьич рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего Утробина, который всю жизнь чувствовал себя на запятках у старшего брата, а был с мозглятинкой – гнильцой самолюбия, не умел и не хотел скрывать неприязни к брату, и давно уже, давно они отурились друг от друга, встречались на реке да по надобности – в дни похорон, свадеб, крестин. Игнатьич имел лучший в поселке дом, небольшой, зато самый красивый, с верандочкой, с резными наличниками, с весело выкрашенными ставенками, с палисадником под окнами, в котором росла малина, черемуха, цветки ноготки, мохнатые маки и неизвестные здешнему народу шаровидные цветы, корни которых похожи на брюковки. Привезла их из Фрунзе и приучила расти в суровом чушанском климате

жена Игнатьича, работавшая бухгалтером на одном с мужем предприятии.

Слух был, что у Игнатьича лежит на книжке семьдесят тысяч старыми. Игнатьич слухи эти не опроверг, болтливую работницу сберкассы, выдавшую «тайну вклада», не одернул, но счет свой перевел в Енисейск. И притихла работница сберкассы, старалась на улице с Игнатьичем не встречаться, если разминуться все же не удавалось, опускала глаза и, торопливо пробегая, навеличивала: «Здрасте, Зиновий Игнатьич!»

У Игнатьича стояло возле Опарихи три конца. Чуть на отшибе от фарватера, чтоб не получилось, как у Куклина, не нашел бы темной осенней ночью лодку нос парохода и не клюнул бы ее. Однако и в сторонке от стрежи дивно брал стерлядей Игнатьич. Младший братан – чеченская каторжная рожа – окружал концы старшего брата своими концами. Сокрушенно покачав головой, Игнатьич поднимал тяжелые якорницы, переставлял самоловы выше по реке и снова брал рыбу уловисто.

Командор не отступал, давил братца и таки вытеснил его на Золотую каргу, почти «в поле чисто». И отступился, полагая, что теперь-то братец шиш обрыбится. Но на новом месте пошла на самоловы Игнатьича стерлядь хотя и реже, зато самая отборная, мельче килограмма, считай, не попадалось. И тронуло суеверные души чалдонов подозрение: «Слово знает!» Командор увидел как-то лодку брата, самосплавом идущую по реке, и покажись ему, что старший ехидно усмехнулся. Командор схватил ружье, щелкнул курками. Игнатьич побледнел, подобрался. «Опусти ружье, молокосос! В тюрьме сгною…» – «Не-на-ави-и-ижу-у-у! – взвыл Командор и, отбросив ружье, затопал сапогами, топтал рыбу так, что хрястало под подошвами: – Сгинь! Пропади! Застрелю!..» – «Хар-рош! Ох, хар-р-рош!

Ни ума, ни заклику, как говорится! Не зря мать-покойница каялась, не зря, что в зыбке не прикинула тебя подушкой…» – Игнатьич плюнул и умчался не оглядываясь.

Но даже молчаливая фигура старшего Утробина за рулем – вызов Командору, скорготал он зубами, клялся про себя нащупать самоловы очесливого братца и осадой, измором, нахрапом ли выжить его с реки или загнать в такой угол, где ерш и тот не водится.

До войны в низовьях Енисея серединой лета эвенки, селькупы и нганасаны ставили по берегу чумы и ловили подпусками – переметами красную рыбу, наживляя на уды кусочки подкопченных над очагами вьюнов. Очень лакомы, видать, эти кусочки, коли дурило-осетрище хватает их вместе с почти голым крючком. К цевью уд бойе всегда навязывали тряпочки,

берестинки, ленточки. Но они везде и всюду любят делать украшения, и на одежду свою нашивают всякую всячину, и на обувь, однако из-за тряпочек этих, из-за нюха ли совершенно верного брали они рыбу центнерами. Наезжие артельщики, по сезонному договору промышляющие рыбу, возле тех же песков или островов паслись, но возьмут двух-трех осетришек, стерляди на варю и вся добыча. И тоща, переломив стыд и сердце, начинали они притираться своими наплавами к снастям бойе. «Почто так делаш? Рыпы шшват мноко. Засем по реке колесиш, засем снасти путаш?» Кочевали с места на место бойе, теряя дорогое промысловое время, но рыбу брали и брали, а наезжие, тика в тику бросившие переметы туда, где только что рыбачили инородцы, вынали голые крючки.

И таким-то дубакам, как в Чуши рекут наезжих хапуг, уподобился местный житель, исконный рыбак, да еще и руку поднял на человека, да и не просто на человека, на брата, да и не просто руку – ружье! Поселок упивался скандалом, перевещал новость со двора во двор, катил ее колесом.

Жена Командора глаз не казала на улицу.

– Ты че, совсем уж залил оловянные шары! – наступала на мужа. – Совсем выполчился! Мало тебе дочери кровинки! Брата родного свести со свету готов! Давай уж всех нас заодно…

В прежнее время за такую дерзость он бы искуделил супругу, исполосовал бы так, что до прощеного дня хватило, но после гибели Тайки вызубилась она, потеряла всякий страх, чуть что – прет на него всем корпусом, тюрьмой грозит, глаза аж побелеют, щеки брезгло дрожат, голова трясется – чует баба: свергнут грозный чеченец в самом себе, добивает, дотаптывает, стерва.

И отправился на поклон к брату младший Утробин. Через дорогу плелся будто через тюремный двор. Игнатьич дрова колол, издали приметил брата, задом к нему поворотился, еще старательней половинил березовые чурки. Командор кашлянул – брат дрова колет, из-за тюлевой занавески в окно встревоженно выглядывала пухленькая, меднорожная жена Игнатьича в легоньком, кружевами отделанном халатике. Взять бы за этот халат да теремок подпалить – крашеный-то эк стал бы! Командор сдавил коричневыми лапищами штакетник так, что вот-вот серу из дощечек выжмет.

– Пьяный был дак…

Игнатьич воткнул топор, повернулся, кепку поправил:

– А пьяному, что ли, закон не писан? – Помолчал и словно в школе принялся поучать: – Не по-людски ведешь себя, брательник, не по-людски. Мы ведь родня как-никак. Да и на виду у людей, при должностях…

Командор с детства всяких поучителей переносить не мог, ну просто болел нутром при одной только попытке со стороны людей чего-то выговорить ему, подсказать, сделать назидание. Отволохай, отлупи, рожу всю растворожь, но не терзай словами. И ведь знает, знает характер младшего старший брат, но, видишь ты, в кураж впал и неповинную голову сечет, а кишки перепиливает, перегрызает, можно сказать: «Ну-ка, давай, давай! Ты у нас наречистый, ты у нас громкой! Покажи свою разумность, выставь мою дурь напоказ. Баба твоя ухо навострила. Хлебат всеми дырьями, какие у ей есть, слова твои кисельные. То-то завтра в конторе у ей работы будет, то-то она потешится, то-то потрясут мою требуху, мои косточки служащие дамочки!»

И ведь вот что занятней всего – говорит-то старший брат путем все, в точку. И насчет населения поселка, которому только и надо, чтоб братья в топоры. Потеха! Развлечение! И насчет работы – сымут с должности капитана, коли пьянствовать не бросит. И насчет промысла темного, хитрого, который надо союзно вести, – Куклин чудотворец завещал, – голимая все правда, но вот вроде как близирничает братец, спектакль бесплатный устраивает, тешит свою равномерную душу, вот-вот и Тайку, пожалуй, помянет. Тогда не вынести Командору – топор выхватит…

Командор скрипнул зубами, махнул у лица рукой, словно кого отлепляя, и скорее домой подался, и тоже взялся колоть дрова на зиму, да с такой силой крушил дерево, что которые поленья аж через заплот перелетали, и кто-то крикнул с улицы: «Пли!», баба заругалась: «Эко, эко лешаки-то давят! Не рабливат, не рабливат, возьмется, дак и правда што как на войне!..» В работе Командор немного разрядился, отошел, мысли в нем выпрямились, не клубились в башке, не путались, разума не затемняли. «Вечно так и будет, – с каким-то непривычным для него, тоскливым спокойствием решил он, – где-то, на чем-то, на какой-то узкой тропинке сойдемся с братцем так, что не разойтись…»

В студеный осенний морок вышел Игнатьич на Енисей, завис на самоловах. Перед тем как залечь на ямы, оцепенеть в долгой зимней дремотности, красная рыба жадно кормилась окуклившимся мормышем, ошивалась, как нынешние словотворцы говорят, возле подводных каменных гряд, сытая играла с пробками и густо вешалась на крючья.

С двух первых самоловов Игнатьич снял штук семьдесят стерлядей, заторопился к третьему, лучше и уловистей всех стоящему. Видно, попал он им под самую каргу, а это дается уж только мастерам высшей пробы, чтоб на гряду самуё не бросить –

зависнет самолов, и далеко не сплыть – рыба проходом минует самолов. Чутье, опыт, сноровка и глаз снайперский требуются. Глаз острится, нюх точится не сам собою – с малолетства побратайся с водою, постынь на реке, помокни и тогда уж шарься в ней, как в своей кладовке…

К третьему концу Игнатьич попал затемно, ориентир на берегу – обсеченная по маковку елка, так хорошо видная темной колоколенкой даже на жидком свету, уперлась в низкие, брюхатые тучи, мозглый воздух застелил берег, река, жестяно и рвано отблескивающая в ночи, ломала и скрадывала расстояние. Пять раз заплывал рыбак и тянул кошку по дну реки, времени потерял уйму, промерз вроде бы до самых костей, но зато, лишь подцепил и приподнял самолов, сразу почувствовал: на нем крупная рыбина!

Он не снимал стерлядь с крючков, а стерляди, стерляди!.. Бурлила, изогнувшись в калач, почти на каждой уде стерлядка, и вся живая. Иные рыбины отцеплялись, уходили, которая сразу вглубь, которые подстреленно выбрасывались и шлепались в воду, клевали острием носа борт лодки – у этих поврежден спинной мозг; визига проткнута, этой твари конец – с порченым позвоночником, с проткнутым воздушным пузырем, с порванными жабрами рыба не живет. Налим, на что крепкущая скотина, но как напорется на самоловные уды – дух из него вон и кишки на телефон.

Шла тяжелая, крупная рыбина, била по тетиве редко, уверенно, не толкалась попусту, не делала в панике тычков туда-сюда. Она давила вглубь, вела в сторону, и чем выше поднимал ее Игнатьич, тем грузнее она делалась, остойчивее упиралась. Добро, хоть не делала резких рывков – щелкают тогда крючки о борт, ломаются спичками, берегись, не зазевайся рыбак – цапнет удой мясо иль одежду, ладно, крючок обломится, ладно, успеешь схватиться за борт, пластануть ножом капроновое коленце, которым прикреплена к хребтовине самолова уда, иначе…

Незавидная, рисковая доля браконьера: возьми рыбу да при этом больше смерти бойся рыбнадзора – подкрадется во тьме, сцапает – сраму наберешься, убытку не сочтешь, сопротивляться станешь – тюрьма тебе. На родной реке татем живешь и до того выдрессировался, что ровно бы еще какой, неведомый, дополнительный орган в человеке получился – вот ведет он рыбу, болтаясь на самоловном конце, и весь в эту работу ушел, азартом захвачен, устремления его – взять рыбу, и только! Глаза, уши, ум, сердце – все в нем направлено к этой цели, каждый нерв вытянут в ниточку, через руки, через кончики пальцев припаян рыбак к тетиве самолова, но что-то иль кто-то там, повыше живота, в

левой половине груди живет своей, отдельной жизнью, будто пожарник, несет круглосуточно неусыпное дежурство. Игнатьич с рыбиной борется, добычу к лодке правит, а оно, в груди-то, ухом поводит, глазом недреманым тьму ощупывает. Вдали огонек мелькнул, оно уже трепыхнулось: какое судно? Опасность от него? Отцепляться от самолова? Пускать рыбину вглубь? А она, живая, здоровенная, может изловчиться и уйти. Напряглось все в человеке, поредели удары сердца, слух напружинен до звона, глаз силится быть сильнее темноты, вот-вот пробьет тело током, красная лампочка внутри заморгает, как в пожарке: «Опасность! Опасность! Горим! Горим!»

Пронесло! Грузовая самоходка, похрюкивая, будто племенной пороз со свинофермы грохотало, прошла серединой реки. Следом грустный кораблик неспешно волокся, музыка на нем играла однотонная, протяжная, на вой метели похожая, и под эту музыку на верхней, слабо освещенной палубе умирали три парочки, плотно сцепившись перед кончиной и уронив друг дружке бессильные головы на плечи. «Красиво живут, – Игнатьич даже приостановил работу, – как в кино!»

В этот миг заявила о себе рыбина, пошла в сторону, защелкали о железо крючки, голубые искорки из борта лодки высекло. Игнатьич отпрянул в сторону, стравливая самолов, разом забыв про красивый кораблик, про парочки, не переставая, однако, внимать ночи, сомкнувшейся вокруг него. Напомнив о себе, как бы разминку сделав перед схваткой, рыбина унялась, перестала диковать и только давила, давила вниз с тупым, непоколебимым упрямством. По всем повадкам рыбы, по грузному этому слепому давлению во тьму глубин угадывался на самолове осетр, большой, но уже умаянный.

За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, черного тряпья. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла не вглубь, вперед пошла на стрежь, охлестывая воду и лодку оборвышами коленцев, пробками, удами, ворохом волоча скомканных, умаянных стерлядей, стряживая их с самолова. «Хватил дурило воздуху. Забусел», – мгновенно подбирая слабину самолова, думал Игнатьич и увидел рыбину возле борта лодки. Увидел и опешил: черный, лаково отблескивающий сутунок со вкось, не заподлицо, обрубленными сучьями; крутые бока, решительно означенное остриями плащей, будто от жабер до хвоста рыбина опоясана цепью бензопилы. Кожа, которую обминало водой, щекотало нитями струй, прядущихся по плащам и свивающихся далеко за круто изогнутым хвостом, лишь на вид мокра и гладка, на самом же деле ровно бы в толченом стекле,

смешанном с дресвою.

Что-то редкостное, первобытное было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела, от мягких, безжильных, как бы червячных усов, висящих под ровно сострогнутой внизу головой до перепончатого, крылатого хвоста – на доисторического ящера походила рыбина, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына нарисован.

Течение на стрежи вихревое, рваное. Лодку шевелило, поводило из стороны в сторону, брало струями на отур, и слышно было, как скрежещут о металл рыскающей дюральки плащи осетра, сточенные, закругленные водой. Летошний осетр еще и осетром не называется, всего лишь костерькой, после – карышем или кастрюком, похож он на диковинно растопыренную шишку иль на веретенце, по которому торчат колючки. Ни вида, ни вкуса в костерьке, и хищнику никакому не слопать: распорет костерька – проткнет утробу. И вот, поди ж ты! Из остроносой колючки этакий боровище вырастает! И на каком питанье-то? На мормышке, на козявках и вьюнцах. Ну не загадка ли природы?!

Совсем где-то близко закрякал коростель. Игнатьич напрягся слухом – вроде как на воде крякает? Коростель – птица долгоногая, бегучая, сухопутная и летняя, давно пора ей убегти в теплую сторону. А вот поди ж ты, крякает. На близком слуху – вроде как под ногами: «Не в штанах ли у меня закрякало?!» Игнатьич хотел, чтоб веселые, несколько даже ернические шуточки сняли с него напряжение, вывели бы из столбняка. Но легкое настроение, которого он желал, не посетило его, и азарта, того дикого азарта, жгучей, всепоглощающей страсти, от которой воет кость, слепнет разум, тоже не было. Наоборот, вроде бы как обмыло теплыми, прокислыми щами там, слева, где несло дежурство оно, недреманное ухо. Рыба, а это у нее коростелем скрипел хрящатый рот, выплевывала воздух, долгожданная, редкостная рыба вдруг показалась Игнатьичу зловещей.

«Да что же это я? – поразился рыбак. – Ни бога, ни черта не боюся, одну темну силу почитаю… Так, может, в силе-то и дело?» – Игнатьич захлестнул тетиву самолова за железную уключину, вынул фонарик, воровато, из рукава осветил им рыбину с хвоста. Над водою сверкнула острыми кнопками круглая спина осетра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий, покатый лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг темных, с картечины величиною, зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе.

Осетр висел на шести крючках. Игнатьич добавил ему еще пяток – боровина даже не дрогнул от острых уколов, просекших сыромятно-твердую кожу, лишь пополз к корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься по туго в него бьющей воде, пообрывать поводки самолова, взять на типок[2] тетиву, переломать все эти махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные железки.

Жабры осетра захлопали чаще, заскрипели решительней. «Сейчас пойдет!» – похолодел Игнатьич. Не всем умом, какой-то его частью, скорее опытом он дошел – одному не совладать с этаким чудовищем. Надо засадить побольше крючков в осетра и бросить конец – пусть изнемогает в глуби. Прискачет младший братец на самоловы, поможет. Уж в чем, в чем, а в лихом деле, в боренье за добычу не устоит, пересилит гордыню. Совхозная самоходка ушла за вырубленной в Заречье капустой, и, пока судно разгрузит овощ, пока совсем не затемняет, Командор к Опарихе не явится.

Надо ждать, жда-ать! Ну а дождешься, так что? Делить осетра? Рубить на две, а то и на три части – с братцем механик увяжется, этакий, на бросового человечишку Дамку похожий обормот. В осетре икры ведра два, если не больше. Икру тоже на троих?! «Вот она, вот она, дрянь-то твоя и выявилась! Требуха-то утробинская с мозглятинкой, стало быть, и вывернулась!..» – с презрением думал о себе Игнатьич.

Кто он сейчас? Какой его облик вылупается? Лучше Дамки, недобитого бандеровца Грохотало иль младшего братца? Все хапуги схожи нутром и мордой! Только иным удается спрятать себя, притаиться до поры до времени, но накатывает случай, предел жизни настигает, как говаривал покойный Куклин, и сгребает всех в кучу – потом одного по одному распределяет на места. Кто держится на своих собственных ногах, живет своим умом, при любом соблазне хлебает под своим краем, не хватая жирных кусков из общего котла, характер свой на дешевку не разменивает, в вине себя не топит, пути своей жизни не кривит, – у того человека свое отдельное место в жизни и на земле, им заработанное и отвоеванное. Остальное все в хлам, в утиль, на помойку! «Ах, умница-разумница! – усмехнулся Игнатьич. – Все-то ты разумеешь, все-то тямлишь! Игрунчик! Докажи, каков рыбак?» – раззуживал, распалял самого себя старший Утробин.

Чалдонская настырностъ, самолюбство, жадность, которую он почел азартом, ломали, корежили человека, раздирали на части.

– Не трожь! Не тро-о-ожь! – остепенял он себя. – Не осилить!..

Ему казалось, если говорить вслух, то как бы со стороны кто-то с непритухшим разумом глаголет, и от голоса его возможно

отрезветь, но слова звучали отдельно, далеко, глухо. Лишь слабый их отзвук достигал уха ловца и совсем не касался разума, занятого лихорадочной работой, – там планировались действия, из нагромождений чувств выскребалась деловитость, овладевая человеком, направляла его – он подскребал к себе топорик, острый крюк, чтоб поддеть им оглушенную рыбину. Идти на веслах к берегу он не решался, межень прошла, вода поднялась с осенней завирухи-мокрети, рвет, крутит далеко до берега, и рыба на мель не пойдет, только почувствует осторожным икряным брюхом твердь – такой кордебалет выкинет, такого шороху задаст, что все веревочки и уды полетят к чертям собачьим.

Упускать такого осетра нельзя. Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому якову.

Дамке отродясь не попадала и не попадется – он по реке-то не рыбачит, сорит удами…

Игнатьич вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про себя, роковые слова – больно уж много всякой всячины наслушался он про царь-рыбу, хотел ее, богоданную, сказочную, конечно, увидеть, изловить, но и робел. Дедушко говаривал: лучше отпустить ее, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать ее. Но раз произнеслось, вырвалось слово, значит, так тому и быть, значит, брать за жабры осетрину, и весь разговор! Препоны разорвались, в голове и сердце твердость – мало ли чего плели ранешные люди, знахари всякие и дед тот же – жили в лесу, молились колесу…

«А-а, была не была!» – удало, со всего маху Игнатьич жахнул обухом топора в лоб царь-рыбу и потому, как щелкнуло звонко, без отдачи гукнуло, догадался – угодило вскользь. Надо было не со всей дурацкой силы бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее. Повторять удар некогда, теперь все решалось мгновениями. Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил ее в лодку. Готовый издать победный вопль, нет, не вопль – он ведь не городской придурок, он от веку рыбак, просто тут, в лодке, дать еще разок по выпуклому черепу осетра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно.

Вдох, усилие – крепче в борт ногою, тверже упор. Но находившаяся в столбняке рыба резко вертанулась, ударилась об лодку, громыхнула и черно поднявшимся ворохом не воды, нет, комьями земли взорвалась река за бортом, ударило рыбака тяжестью по голове, давнуло на уши, полоснуло по сердцу. «А-ах!» – вырвалось из груди, как при доподлинном взрыве, подбросившем его вверх и уронившем в немую пустоту. «Так вот оно как, на войне-то…» – успел он еще отметить. Разгоряченное

борьбой нутро оглушило, стиснуло, ожгло холодом.

Вода! Он хлебнул воды! Тонет!

Кто-то тащил его за ногу в глубину. «На крючке! Зацепило! Пропал!» – и почувствовал легкий укол в голень – рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды. В голове Игнатьича тоскливо и согласно, совсем согласно зазвучала вялая покорность: «Тогда что ж… Тогда все…» Но был ловец сильным мужиком, рыба выдохшейся, замученной, и он сумел передолеть не ее, а сперва эту вот, занимающуюся в душе покорность, согласие со смертью, которое и есть уже смерть, поворот ключа во врата на тот свет, где, как известно, замки для всех грешников излажены в одну сторону: «У райских врат стучаться бесполезно…»

Игнатьич выбил себя наверх, отплюнулся, хватил воздуха, увидел перед глазами паутинку тетивы, вцепился в нее и уже по хребтовине тетивы подтянулся к лодке, схватился за борт – дальше не пускало – в ноги воткнулось еще несколько уд спутанного самолова. Очумелая рыба грузно ворочалась на ослабевшем конце, значит, сдвинула становую якорницу, увязывала самолов, садила в себя крючок за крючком, и ловца не облетало. Он старался завести ноги под лодку, плотнее прильнуть к ее корпусу, но уды находили его, и рыба, хоть и слабо, рывками, ворочалась во вспененной саже, взблескивая пилою спины, заостренной мордой, будто плугом вспахивала темное поле воды.

«Господи! Да разведи ты нас! Отпусти эту тварь на волю! Не по руке она мне!» – слабо, без надежды взмолился ловец. Икон дома не держал, в бога не веровал, над дедушкиными наказами насмехался. И зря. На всякий, ну хоть бы вот на такой, на крайний случай следовало держать иконку, пусть хоть на кухоньке, в случае чего – на покойницу-мать спереть можно было – оставила, мол, завещала…

Рыба унялась. Словно бы ощупью приблизилась к лодке, навалилась на ее борт – все живое к чему-нибудь да жмется! Ослепшая от удара, отупевшая от ран, надранных в теле удами и крюком-подцепком, она щупала, щупала что-то в воде чуткими присосками и острием носа уткнулась в бок человеку. Он вздрогнул, ужаснулся, показалось, рыба, хрустя жабрами и ртом, медленно сжевывала его заживо. Он попробовал отодвинуться, перебираясь руками по борту накренившейся лодки, но рыба продвигалась за ним, упрямо нащупывала его и, ткнувшись хрящом холодного носа в теплый бок, успокаивалась, скрипела возле сердца, будто перепиливала надреберье тупой ножовкой и с мокрым чавканьем вбирала внутренности в раззявленный рот, точно в отверстие мясорубки.

И рыба и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свертывается в холодной воде. Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало ее в рыбе. Зачем ей кровь? Она живет в воде. Ей греться ни к чему. Это он, человек, на земле обитает, ему в тепло надобно. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь – на одной ловушке. Караулит их одна и та же мучительная смерть. Рыба промучается дольше, она у себя дома, и ума у нее не хватит скорее кончить эту волынку. А у него ума достанет отпуститься от борта лодки! И все! Рыба одавит его вглубь, затреплет, истычет удами, поможет ему…

«Чем? В чем поможет-то? Сдохнуть? Окочуриться? Не-ет! Не дамся, не да-а-амся!..» – Ловец крепче сжал твердый борт лодки, рванулся из воды, попробовал обхитрить рыбу, с нахлынувшей злостью взняться на руках и перевалиться за такой близкий борт такой невысокой лодки!

Потревоженная рыба раздраженно чавкнула ртом, изогнулась, повела хвостом, и тут же несколько укусов, совсем почти неслышных, комариных, щипнуло ногу рыбака. «Да что же это такое!» – всхлипнул Игнатьич, обвисая. Рыба тотчас успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, а под мышку ловца, и оттого, что не было слышно ее дыхания, слабо шевелилась над ней вода, он притаенно обрадовался: рыба засыпает, уморило ее воздухом, истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком, вот-вот опрокинется вверх брюхом.

Он, затихнув, ждал, чувствуя, что и сам погружается в дрему.

Словно ведая, что они повязаны одним смертным концом, рыба не торопилась разлучаться с ловцом и с жизнью, рулила хвостом, крыльями, удерживая себя и человека на плаву, работала жабрами, и чудился человеку убаюкивающий скрип сухого очепа зыбки. Морок успокоительного сна накатывал на человека, утишая его тело и разум.

Зверь и человек, в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один – медведь, волк, рысь – грудь в грудь, глаз в глаз, ожидая смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом сказывались, но чтобы повязались одной долей человек и рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей, с желтенькими, восково плавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, нет – у зверя глаза умные, а на поросячьи, бессмысленно-сытые глаза – такое-то на свете бывало ль?

Хотя на этом свете все и всякое бывало, да не все людям известно. Вот и он, один из многих человеков, обессилеет, окоченеет, отпустится от лодки, уйдет с рыбой в глубь реки,

будет там болтаться, пока коленца не отопреют. А коленца-то капроновые, их до зимы хватит! И кто узнает, где он? Как он кончился? Какие муки принял? Вон старик-то Куклин года три назад где-то здесь же, возле Опарихи, канул в воду, и с концами. Лоскутка не нашли. Вода! Стихия! В воде каменные гряды, расщелья, затащит, втолкнет куда…

Однажды он видел утопленника. Тот на дне реки лежал, подле самого берега. Выпал, должно быть, с парохода, почти к суше прибился, да не знал того и сдался. А может, сердце отказало, может, пьяный был, может, и другое что стряслось – не выспросишь. Глаза утопленника, подернутые свинцовой пленкой, пленкой смерти, до того были огромны и круглы, что не вдруг и верилось, будто человечьи то глаза. Разгляделся Игнатьич, съежился – так велики, так уродливо вывернуты глаза утопшего оттого, что рыбка-мелочишка выщипала ресницы, веки обсосала, и ушли рыбешки под кругляши глаз. Из ушей и ноздрей человека торчали пучками хвосты сладко присосавшихся к мясу налимишек и вьюнов, в открытом рту клубились гальяны.

– Не хочу-у! Не хочу-у-у-у! – дернулся, завизжал Игнатьич и принялся дубасить рыбину по башке. – Уходи! Уходи! Уходи-и-и-и!

Рыба отодвинулась, грузно взбурлила воду, потащив за собой ловца. Руки его скользили по борту лодки, пальцы разжимались. Пока колотил рыбину одной рукой, другая вовсе ослабела, и тогда он подтянулся из последних сил, достал подбородком борт, завис на нем. Хрустели позвонки шеи, горло сипело, рвалось, однако рукам сделалось полегче, но тело и особенно ноги отдалились, чужими стали, правую ногу совсем не слыхать.

И принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть.

– Ну что тебе! – дребезжал он рваным голосом, с той жалкой, притворной лестью, которую в себе не предполагал. – Все одно околеешь. – Подумалось: вдруг рыба понимает слова! Поправился: – Уснешь. Смирись! Тебе будет легче и мне легче. Я брата жду, а ты кого? – И задрожал, зашлепал губами, гаснущим шепотом зовя: – Бра-ате-ельни-и-и-ик!..

Прислушался – никакого отзвука. Тишина. Такая тишина, что собственную душу, сжавшуюся в комок, слышно. И опять ловец впал в забытье. Темнота сдвинулась вокруг него плотнее, в ушах зазвенело, значит, совсем обескровел. Рыбу повернуло боком – она тоже завяла, но все еще не давала опрокинуть себя воде и смерти на спину. Жабры осетра уже не крякали, лишь поскрипывали, будто крошка короед подтачивал древесную плоть, закислевшую от сырости под толстой шубой коры.

На реке чуть посветлело. Далекое небо, луженное изнутри

луной и звездами, льдистый блеск которого промывался меж ворохами туч, похожих на торопливо сгребенное сено, почему-то не сметанное в стога, сделалось выше, отдаленней, и от осенней воды пошло холодное свечение.

Наступил поздний час. Верхний слой реки, согретой слабым солнцем осени, остудило, сняло, как блин, и бельмастый зрак глубин со дна реки проник наверх.

Не надо смотреть на реку. Зябко, паскудно на ней ночью. Лучше наверх, на небо смотреть.

Вспомнился покос на Фетисовой речке, отчего-то желтый, ровно керосиновым фонарем высвеченный или лампадкой. Покос без звуков, без движения какого-либо и хруста под ногами, теплого, сенного хруста. Среди покоса длинный зачесанный зарод с острием жердей, торчащих по полого осевшему верху. Почему же все желтое-то? Безголосое? Лишь звон густеет ровно бы под каждым стерженьком скошенной травы по махонькому кузнецу утаилось, и без передыху звонят они, заполняя все вокруг нескончаемой, однозвучной, усыпляющей музыкой пожухлого, вялого лета. «Да я же умираю! – очнулся Игнатьич. – Может, я уж на дне? Желто все…»

Он шевельнулся и услышал рядом осетра, полусонное, ленивое движение его тела почувствовал – рыба плотно и бережно жалась к нему толстым и нежным брюхом. Что-то женское было в этой бережности, в желании согреть, сохранить в себе зародившуюся жизнь.

«Да уж не оборотень ли это?!»

По тому, как вольготно, с сытой леностью подремывала рыба на боку, похрустывала ртом, будто закусывая пластиком капусты, упрямое стремление ее быть ближе к человеку, лоб, как бы отлитый из бетона, по которому ровно гвоздем процарапаны полосы, картечины глаз, катающиеся без звука под панцирем лба, отчужденно, однако ж не без умысла впершиеся в него, бесстрашный взгляд – все-все подтверждало: оборотень! Оборотень, вынашивающий другого оборотня, греховное, человечье есть в сладостных муках царь-рыбы, кажется, вспоминает она что-то тайное перед кончиной.

Но что она может вспоминать, эта холодная водяная тварь? Шевелит вон щупальцами-червячками, прилипшими к лягушачьей жидкой коже, за усами беззубое отверстие, то сжимающееся в плотно западающую щель, то отрыгивающее воду в трубку, рот похож на что-то срамное, непотребное. Чего у него еще было, кроме стремления кормиться, копаясь в илистом дне, выбирая из хлама козявок?! Нагуливала она икру и раз в году терлась о самца или о песчаные водяные дюны? Что еще было у нее? Что?

Почему же он раньше-то не замечал, какая это отвратная рыба на вид! Отвратно и нежное бабье мясо ее, сплошь в прослойках свечного, желтого жира, едва скрепленное хрящами, засунутое в мешок кожи; ряды панцирей в придачу, и нос, какого ни у одной рыбы нет, и эти усы-червяки, и глазки, плавающие в желтушном жиру, требуха, набитая грязью черной икры, такой тоже нет у других рыб, – все-все отвратно, тошнотно, похабно!

И из-за нее, из-за этакой гады забылся в человеке человек! Жадность его обуяла! Померкло, отодвинулось в сторону даже детство, да детства-то, считай, и не было. В школе с трудом и мукой отсидел четыре зимы. На уроках, за партой, диктант пишет, бывало, или стишок слушает, а сам на реке пребывает, сердце дергается, ноги дрыгаются, кость в теле воет – она, рыба, поймалась, идет! Сколь помнит себя, все в лодке, все на реке, все в погоне за нею, за рыбой этой клятой. На Фетисовой речке родительский покос дурниной захлестнуло. В библиотеку со школы не заглядывал, – некогда. Был председателем школьного родительского комитета – содвинули, переизбрали – не заходит в школу. Наметили на производстве депутатом в поссовет – трудяга, честный производственник, и молча отвели – рыбачит втихую, хапает, какой из него депутат? В народную дружину и в ту не берут, забраковали. Справляйтесь сами с хулиганами, вяжите их, воспитывайте, ему некогда, он все время в погоне. Давят машинами, режут ножами людей, носятся по поселку одичалые пьяницы с ружьями и топорами? Его не достанешь! Ан и достали! Тайку-то, любимицу!..

А-ах ты, гад, бандюга! Машиной об столб, юную, прекрасную девушку, в цвет входящую, бутончик маковый, яичко голубиное – всмятку. Девочка небось в миг последний отца родимого, дядю любимого пусть про себя кликнула. А они? Где были они? Чего делали?

Опять дед вспомнился. Поверья его, ворожба, запуки: «Ты как поймашь, Зиновей, малу рыбку – посеки ее прутом. Сыми с уды и секи да приговаривай: „Пошли тятю, пошли маму, пошли тетку, пошли дядю, пошли дядину жану!“ Посеки и отпущай обратно и жди. Все будет сполнено, как ловец велел». Было, сек прутом рыбину, сперва взаправду, подрос – с ухмылкой, а все ж сек, потому что верил во всю эту трахамудрию – рыба попадалась и крупная, но попробуй разбери, кто тут тятя, кто тут дядя и кто дядина жена… Вечный рыбак, лежучи на печи со скрученными в крендель ногами, дед беспрестанно вещал голосом, тоже вроде бы от ревматизма искрученным, перемерзлым. «А ешли у вас, робята, за душой што есь, тяжкий грех, срам какой, варначество – не вяжитесь с царью-рыбой, попадется коды – отпушшайте сразу.

Отпушшайте, отпушшайте!.. Ненадежно дело варначье».

Ни облика, ни подробностей жизни деда, ни какой-нибудь, хоть маломальской приметы его не осталось в памяти, кроме рыбацких походов да заветов. Этот вот другорядь за сегодня вспомнился. Припекло! Но какой же срам, какое варначество за ним такое страшное, коль так его скрутило?

Игнатьич отпустился подбородком от борта лодки, глянул на рыбину, на ее широкий бесчувственный лоб, бронею защищающий хрящевину башки, желтые и синие жилки-былки меж хрящом путаются, и озаренно, в подробностях обрисовалось ему то, от чего он оборонялся всю почти жизнь и о чем вспомнил тут же, как только попался на самолов, но отжимал от себя наваждение, оборонялся нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться окончательному приговору не было сил.

Пробил крестный час, пришла пора отчитаться за грехи.

… Глашка Куклина, девка на причуды и выдумки гораздая, додумалась однажды вываренный осетровый череп приспособить вместо маски, да еще и лампочку от фонарика в него вделала. Как первый раз в темном зале клуба явилась та маска, народ едва рамы на себе не вынес. Страх, как блуд, и пугает, и манит. В Чуши с той поры балуются маской малы и велики.

С Глашки-то Куклиной все и начинается.

В сорок втором году на чушанскую лесопилку пригнали трудармейцев – резать доски на снарядные ящики. Команду возглавлял тонкий да звонкий лейтенантик, из госпиталя. С орденом, раненый боевой командир появился в Чуши первый и скромностью никого удивлять не собирался, девок, млеющих перед его красотой и боевыми заслугами, он щелкал, как орехи. Само собой, орлиным своим взором лейтенант не мог обойти видную деваху Глашку Куклину. Где-то в узком месте подзажал он ее, и потекли по Чуши склизкие слухи.

Игнатьич, тогда еще просто Зинка, Зиновий, или Зиновей, как звал его дедушка, за жабры присуху-Глашку и к ответу. На грудь ему Глашка пала: «Сама себя не помнила… Роковая ошибка…» – «Ошибка, значит? Роковая! Хор-рошо-о! Но за ошибку ответ держат! За роковую – двойной!» Виду, однако, кавалер никакого не показал, погуливал, разговорчики с дролей разговаривал, когда и пощупает, но в пределах необходимой вежливости.

Ближе к весне боевого командира из тыла отозвали. Вздохнули мамы с облегчением, улеглись страсти и слухи в поселке. Глашка оживляться начала, а то как не в себе пребывала.

В разлив, в половодье, когда ночи сделались совсем коротки и по-весеннему шатки, птицы пели за околицей и по лугам считай что круглосуточно, младой кавалер увел Глашку за поскотину, к

тонко залитой вешнею водой пойме, прижал девку к вербе, оглоданной козами, зацеловал ее, затискал, рукою полез, куда велели мужики, науськавшие парня во что бы то ни стало расквитаться с «изменщицей». «Что ты, что ты! Нельзя!» – взмолилась Глашка. «Лейтенанту можно?! А я тоже допризывник. Старшим лейтенантом, глядишь, стану!»

Как он Глашке про лейтенанта брякнул, она и руки уронила.

Поначалу-то он забыл и про месть, и про лейтенанта, поначалу он и сам себя худо помнил. Это уж потом, когда пых прошел, когда туман с глаз опал, снова в памяти высветлился лейтенант, чернявый, в сгармошенных сапогах, орден и значок на груди его сверкают, нашивка за фронтовую рану огнем горит! Это как стерпеть? Как вынести ревнивому сердцу? Трусовато оглядываясь, кавалер сделал то, чему учили старшие дружки: поставил покорную девку над обрывистым берегом, отвернул лицом к пойме, спустил с нее байковые штанишки, крашенные домодельной краской, с разномастными, колотыми вальком, пуговицами, эти пуговицы и запомнились сильней всего, потому что бедный девичий убор приостановил было пакостные намерения. Но уже хотелось изображать из себя ухаря, познавшего грех, – это придавало храбрости мокрогубому молодцу. Словом, поддал он хнычущей, трясущейся девчонке коленом в зад, и она полетела в воду. Пакостник с мозгой – место выбрал мелкое, чтоб не утонула часом ухажерка, послушал, посмотрел, как белопузой нельмой возится, шлепается на мелководье девчонка, путаясь в исподине, словно в неводе, завывая от холода, выкашливая из себя не воду, а душу, и трусовато посеменил домой.

С той поры легла между двумя человеками глухая, враждебная тайна.

Отслужив в армии в городе Фрунзе, Зиновий привез с собой жену. Глаха тем временем тоже вышла замуж за инвалида войны, тихого приезжего мужика, который выучился на счетовода, пока валялся в госпитале. Жила Глаха с мужем скромно, растила троих ребят. Где-то в глубине души Игнатьич понимал, что и замужество ее, и вежливое «здравствуйте, Зиновий Игнатьевич!», произнеся которое Глаха делала руки по швам и скорее пробегала, – все это последствия того надругательства, которое он когда-то над нею произвел.

Бесследно никакое злодейство не проходит, и то, что он сделал с Глахой, чем, торжествуя, хвастался, когда был молокососом, постепенно перешло в стыд, в муку. Он надеялся, что на людях, в чужом краю все быльем порастет, но, когда оказался в армии, так затосковал по родным местам, такой

щемящей болью отозвалось в нем прошлое, что он сломался и написал покаянное письмо Глахе.

Ответа на письмо не пришло.

В первый же по приезде вечер он скараулил Глаху у совхозного скотного двора – она работала там дояркой, сказал все слова, какие придумал, приготовил, прося прощения. «Пусть вас бог простит, Зиновий Игнатьевич, а у меня на это сил нету, силы мои в соленый порошок смололись, со слезьми высочились. – Глаха помолчала, налаживая дыхание, устанавливая голос, и стиснутым горлом завершила разговор: – Во мне не только что душа, во мне и кости навроде как пусты…»

Ни на одну женщину он не поднял руку, ни одной никогда больше не сделал хоть малой пакости, не уезжал из Чуши, неосознанно надеясь смирением, услужливостью, безблудьем избыть вину, отмолить прощение. Но не зря сказывается: женщина – тварь божья, за нее и суд и кара особые. До него же, до бога, без молитвы не дойдешь. Вот и прими заслуженную кару, и коли ты хотел когда-то доказать, что есть мужик, – им останься! Не раскисай, не хлюпай носом, молитвов своедельных не сочиняй, притворством себя и людей не обманывай. Прощенья, пощады ждешь? От кого? Природа, она, брат, тоже женского рода! Значит, всякому свое, а богу – богово! Освободи от себя и от вечной вины женщину, прими перед этим все муки сполна, за себя и за тех, кто сей момент под этим небом, на этой земле мучает женщину, учиняет над нею пакости.

– Прос-сти-итеееее… се-еээээ… – не владея ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь да услышит его, прерывисто, изорванно засипел он. – Гла-а-аша-а-а, прости-и-и. – И попробовал разжать пальцы, но руки свело, сцепило судорогой, на глаза от усилия наплыла красная пелена, гуще зазвенело не только в голове, вроде бы и во всем теле. «Не все еще, стало быть, муки я принял», – отрешенно подумал Игнатьич и обвис на руках, надеясь, что настанет пора, когда пальцы сами собой отомрут и разожмутся…

Сомкнулась над человеком ночь. Движение воды и неба, холод и мгла – все слилось воедино, остановилось и начало каменеть. Ни о чем он больше не думал. Все сожаления, раскаяния, боль, муки отдалились куда-то, он утишался в себе самом, переходил в иной мир, сонный, мягкий, покойный, и только тот, что так давно обретался там, в левой половине его груди, под сосцом, не соглашался с успокоением – он никогда его не знал, сторожился сам и сторожил хозяина, не выключая в нем слух. Густой, комариный звон прорезало напористым, уверенным звоном из тьмы – под сосцом в еще не остывшем теле ткнуло,

вспыхнуло, человек напрягся, открыл глаза – по реке звучал мотор «Вихрь». Даже на погибельном краю, уже отстраненный от мира, он по голосу определил марку мотора и честолюбиво обрадовался прежде всего этому знанью, хотел крикнуть брата, но жизнь завладела им, пробуждала мысль. Первым ее током он приказал себе ждать – пустая трата сил, а их осталась кроха, орать сейчас. Вот заглушат моторы, повиснут рыбаки на концах, тогда зови-надрывайся.

Волна от пролетевшей лодки качнула посудину, ударила о железо рыбу, и она, отдохнувшая, скопившая силы, неожиданно вздыбила себя, почуяв волну, которая откачала ее когда-то из черной, мягкой икринки, баюкала в дни сытого покоя, весело гоняла в тени речных глубин, сладко мучая в брачные времена, в таинственный час икромета.

Удар. Рывок. Рыба перевернулась на живот, нащупала вздыбленным гребнем струю, взбурлила хвостом, толкнулась об воду и отодрала бы она человека от лодки, с ногтями, с кожей отодрала бы, да лопнуло сразу несколько крючков. Еще и еще била рыба хвостом, пока не снялась с самолова, изорвав свое тело в клочья, унося в нем десятки смертельных уд. Яростная, тяжело раненная, но не укрощенная, она грохнулась где-то уже в невидимости, плеснулась в холодной заверти, буйство охватило освободившуюся, волшебную царь-рыбу.

«Иди, рыба, иди! Поживи сколько можешь! Я про тебя никому не скажу!» – молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу – оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком, душе – от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения.

**notes**

# Примечания

# 1

*Будённый Семен Михайлович* – командующий 1-й Конной армией (1919–1923 гг.).

# 2

*На типок* – на разрыв.